



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



1,3,5†





Zelinski, V. H.

КРИТИЧЕСКІЕ РАЗБОРЫ

„ДВОРЯНСКАГО ГНѢЗДА“

И

„НАКАНУНЪ“

И. С. Тургенева.

Перепечатаны изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для
изученія произведеній И. С. Тургенева“.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.



МОСКВА.

Типографія А. Г. Колзутина, Волхонка, д. Воейковой.

1895.

PG3420
D83Z99
1895

ОГЛАВЛЕНІЕ.

„Дворянское гнѣздо“.

Критическія статьи:

П. Анненкова	1	П. Евстафьева	11
Ап. Григорьева	6	М. Де-Пуле	15
Д. Писарева	7	В. Буренина	18
Ап. Григорьева	8	Ю. Николаева	20
А. Незеленова	„		

Дѣйствующія лица „Дворянскаго гнѣзда“ въ отдѣльности.

Лаврецкій.

Критическія статьи:

Ап. Григорьева	29
М. Де-Пуле	31
П. Евстафьева	32
Н. Добролюбова	34
Д. Писарева	35
П. Анненкова	39
О. Миллера	45
В. Буренина	48
А. Незеленова	50
Ю. Николаева	52

Л и з а.

Критическія статьи:

П. Евстафьева	58
М. Де-Пуле	60
М. Авдѣва	62
Д. Писарева	„
Н. Невзорова	66
П. Анненкова	67
О. Миллера	80
В. Буренина	81
А. Незеленова	83
Ю. Николаева	91

Марья Тимофеевна.

Критическая статья

П. Евстафьева	119
-------------------------	-----

Паншинъ.

Критическія статьи:

П. Евстафьева	95
П. Анненкова	97
Д. Писарева	98
О. Миллера	102
Ап. Григорьева	103
А. Незеленова	104

Барвара Павловна Лаврецкая.

Критическія статьи:

П. Евстафьева	107
Ап. Григорьева	108
П. Анненкова	109
В. Буренина	112

Михалевичъ.

Критическія статьи:

О. Миллера	113
А. Незеленова	115

Иванъ Петровичъ (отецъ Лаврецкаго).

Критическія статьи:

Ап. Григорьева	118
С. Венгерова	„

Демъ.

Критическая статья

А. Незеленова	119
-------------------------	-----

„Наканунъ“.

Критическія статьи:

П. Басистова	122	Изъ „Невскаго Сборника“.	
Изъ „Русскаго Слова“. Статья		Статья Алкандрова	129
Н. К—аго	124	Н. Добролюбова	132
П. Басистова	126	В. Буренина	133
Д. Писарева	128	А. Незеленова	136
		Ю. Николаева	139

Дѣйствующія лица „Наканунъ“ въ отдѣльности.

Е л е н а .

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“. Статья	
Н. К—аго	144
М. Авдѣева	147
О. Миллера	„
П. Басистова	148
Н. Добролюбова	153
Д. Писарева	155
Изъ „Современника“. Статья	
А. О.	156
В. Буренина	162
А. Незеленова	166
Ю. Николаева	171

И н с а р о в ъ .

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“. Статья	
Н. К—аго	172
М. Авдѣева	174
П. Басистова	176
Н. Добролюбова	181
С. Венгерова	184
Д. Писарева	„
В. Буренина	187
А. Незеленова	189

Б е р с е н е в ъ .

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“. Статья	
Н. К—аго	196
Н. Добролюбова	199
А. Незеленова	200

Ш у б и н ъ .

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“. Статья	
Н. К—аго	201
А. Незеленова	203

К у р н а т о в с к і й .

Выдержка изъ статьи

Н. Добролюбова	206
--------------------------	-----

У в а р ъ И в а н о в и ч ъ .

Критическая статья

А. Незеленова	207
-------------------------	-----

„ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО“.

*) Трудно сказать, начиная разборъ новаго произведенія г. Тургенева, что болѣе заслуживаетъ вниманія: само ли оно со всѣми своими достоинствами или необычайный успѣхъ, который встрѣтилъ его во всѣхъ слояхъ нашего общества. Во всякомъ случаѣ, стоитъ серьезно подумать о причинахъ того единогласнаго сочувствія и одобренія, того восторга и увлеченія, которые вызваны были появленіемъ *Дворянскаго гнѣзда*. На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примиренія и образовалъ родъ какого-то литературнаго *trêve de Dieu*, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей и единодушной похвалѣ. Конечно, тутъ можно видѣть торжество поэзіи и художественнаго таланта, самовластно подчиняющихъ себѣ разнороднѣйшіе оттѣнки общественной мысли, но съ нѣкоторою основательностію тутъ можно предполагать также, что не каждая изъ рукоплещущихъ сторонъ одинаково понимаетъ внутреннее значеніе произведенія, и не каждая въ приговорѣ своемъ подразумѣваетъ именно то, что другая.

Разбирать причины и, такъ-сказать, составныя части громаднаго успѣха, встрѣченнаго романомъ г. Тургенева—

*) П. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, отдѣлъ II.

не наше дѣло. Скажемъ только, что явленіе это, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ числу очень замѣчательныхъ явленій послѣдняго времени. Мы хорошо понимаемъ единодушіе въ приговорѣ, когда дѣло заходитъ объ общей идеѣ, въ которой каждый человѣкъ порознь или цѣлый народъ вмѣстѣ узнаютъ свою неотъемлемую собственность, свое отраженіе и цѣль для своихъ стремленій; но единодушіе передъ свободнымъ проявленіемъ авторской фантазіи, передъ вопросомъ искусства, передъ фигурами и образами, которые вызваны потребностію отдѣльнаго, частнаго лица, или его художническою прихотью—такое единодушіе представляетъ уже хорошую тему для изслѣдованія. Достаточно вспомнить, что для образованія подобнаго факта нужно было каждому изъ многочисленныхъ судей позабыть на время всѣ нажитыя имъ теоретическія отношенія къ другимъ людямъ (иначе онъ бы никогда съ ними не сошелся), и это вообще довольно рѣдко случается во всѣхъ литературахъ. При подобныхъ явленіяхъ уму наблюдателя неизбѣжно представляется одно изъ двухъ: или счастливое произведеніе вдругъ отвѣтило эстетическимъ и моральнымъ потребностямъ, жившимъ скрытною, затаенною жизнію въ умахъ большей части современниковъ, или при оцѣнкѣ произведенія существуетъ какого-либо рода недоразумѣніе, имѣющее право на раскрытіе и объясненіе.

Мы можемъ сказать откровенно, что, по искреннему нашему убѣжденію, въ составленіи успѣха новому произведенію г. Тургенева участвовали въ извѣстной мѣрѣ и то и другое изъ этихъ условій.

Когда-то, довольно давно, печатно было замѣчено, что для автора *Записокъ Охотника* періодъ поэтическихъ анекдотовъ съ тонкими чертами изъ народнаго быта, съ мастерски-заостреннымъ юмористическимъ словомъ, съ легкими, по видимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинами и положеніями, прошелъ безвозвратно. Послѣ *Записокъ Охотника* автору не оставалось ничего болѣе, какъ пуститься въ открытое море полной, многосторонней народной жизни, если онъ не хотѣлъ укорениться въ одномъ

родѣ и вѣчно плавать у береговъ народнаго быта, въ этихъ анекдотахъ, похожихъ на изящныя, щеголеватыя лодочки, неоцѣнимыя для прогулокъ, для полусеріозныхъ и полупутливыхъ бесѣдъ, но мало пригодныя къ большому, долгому и серіозному плаванію за богатствами русскаго духа и русскаго поэзіи. Кромѣ сельскихъ подробностей, помѣщичьихъ и чиновничьихъ нравовъ, на очереди художническаго воспроизведенія стояло еще тогда цѣлое, такъ-называемое, образованное общество наше со всѣми разнообразными своими явленіями, которыя возникали, двигались, цвѣли и умирали безъ всякаго свидѣтеля, на подобіе невидимокъ, рѣдко-рѣдко оскорбляемыя любопытнымъ взоромъ наблюдателя. Изъ этого страннаго терема, созданнаго, какъ и всѣ терема, пренебреженіемъ, лѣнностію мысли и самодовольствомъ писателей, г. Тургеневъ пытался съ самаго начала освободить нѣсколько образовъ, но онъ относился еще къ новому міру, куда вступалъ, очень горделиво; онъ какъ бы сомнѣвался, способенъ ли этотъ міръ къ независимой жизни въ искусствѣ, сумѣетъ ли онъ держать себя какъ слѣдуетъ и принесетъ ли онъ честь и похвалу своему покровителю. вмѣсто того, чтобы попытаться уразумѣть черты открывшагося ему міра, авторъ сталъ *выбирать* между ними и, какъ бываетъ всегда въ такихъ случаяхъ, выносилъ на свѣтъ не то, что дѣйствительно имѣло силу и значеніе въ обществѣ, а то, что походило на самого искателя, на собственные его идеалы. Но явленія жизни неумолимы, какъ древніе боги. Ихъ не вызовешь презрѣніемъ или укоромъ, ихъ не дождешься, сложа горделиво руки на груди, и въ добавокъ ничѣмъ ихъ не замѣнишь: ими надо овладѣть открыто и честно, какъ овладѣваютъ сердцемъ гордой и благородной женщины, для чего очищаютъ и исправляютъ собственную свою мысль и собственную свою жизнь. Не всякій способенъ къ такому смѣлому приступу, который одинъ даетъ побѣду и обладаніе: вотъ почему большая часть изящныхъ произведеній, содержаніе которыхъ касалось исторіи нашего общества, отличалась въ то время выдумываніемъ явленій, подлогомъ и подставкой изобрѣтенныхъ мотивовъ, вмѣсто настоящихъ

и жизненныхъ. Покуда само общество хранило суровое, равнодушное молчаніе, — ложные слухи, произвольныя догадки и сплетни ходили о немъ по литературѣ безъ малѣйшаго препятствія. Даже Гоголь не могъ измѣнить литературную привычку къ выдумкѣ, лишь только основная интрига произведенія помѣщалась въ средѣ тѣхъ слоевъ общества, которые непосредственно слѣдуютъ за мелкимъ чиновничествомъ, сельскимъ дворянствомъ и городскимъ провинціальнымъ населеніемъ. Самые странные литературные букеты, не имѣвшіе ни формы, ни цвѣта, ни запаха, набирались именно на той почвѣ, которая принадлежала классамъ, заявляющимъ претензію на образованность, на умѣніе лучше понимать жизнь, и разумнѣе, богаче и художественнѣе устроить ее. Великій примѣръ Гоголя принесъ одну только пользу: онъ обратилъ писателей въ чуткихъ сторожей, которые на порогѣ этого особеннаго и разнообразнѣйшаго общества проводили дни и ночи, ожидая, не покажется ли кто случайно изъ вѣчно замкнутыхъ и недоступныхъ дверей. Когда сама тѣснота и обиліе жизни, тамъ царствующей, выбрасывали какое-либо явленіе наружу, подобно тому, какъ нѣкоторыя многолюдныя страны выбрасываютъ излишекъ своего населенія въ Америку, неусыпныя стражи устремлялись на жертву съ поспѣшностію и рвеніемъ людей, прожившихъ многія сутки безъ сна и дѣла или съ пустымъ дѣломъ въ рукахъ. Такимъ образомъ получили мы нѣсколько настоящихъ типовъ, разработанныхъ, надо признаться, очень удовлетворительно и множествомъ несомнѣнныхъ талантовъ, потому что таланты у насъ находятся въ обратной пропорціи со знаніемъ: знанія мало, дарованій много. Впрочемъ, мы все-таки должны быть благодарны этого рода литературному захвату, какъ ни мало требовалъ онъ доблести, усилій мысли и наблюденія. По милости его, мы приобрѣли, какъ уже сказали, нѣсколько законченныхъ типовъ, напри-
мѣръ, типъ *широкой натуры*, освободившей себя отъ всякой ответственности передъ совѣстью, типъ *ничтожнаго характера* съ сильными претензіями и развитою головою, типъ *благонастроеннаго* бюрократа, загоняющаго людей къ по-

рядку и добродѣтели, какъ стадо, и т. д. Мы подстерегали жизненные явленія изъ-за угла не даромъ!

Немного ранѣе *Рудина*, и особенно съ этого романа, мы видимъ г. Тургенева уже въ срединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ срединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ и подъ часъ трагическимъ населеніемъ. Нажитыя понятія, предубѣжденія и предрасудки остались у него за порогомъ новаго міра, да и въ этомъ новомъ мірѣ онъ уже ищетъ не *исключительныхъ* явленій, которыми можно было бы поразить простыхъ людей, а ищетъ человѣка съ отношеніями, опредѣляющими и направляющими его. Какъ ни отрывчаты его рассказы, какъ ни слышится въ нихъ еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимыхъ имъ лицъ, говоръ публики вокругъ новыхъ его произведеній показалъ, что онъ уже близокъ къ настоящему дѣлу, что ему остается превратить свои намеки въ ясные, положительные факты, договорить свои полуткровенія, додѣлать фигуры, брошенные наполовинѣ, и получить затѣмъ право на названіе лѣтописца современной жизни. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, г. Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой, многозначительной драмы, какая является въ *Дворянскомъ инъздѣ*, и какихъ тысячи втихомолку разыгрываются по разнымъ угламъ нашего отечества, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, и взятыхъ изъ неисчисленной движущейся толпы такъ-называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣниваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ нашею современностію, съ сердцами всего настоящаго, или лучше, всего *отживающаго* поколѣнія. Таковъ былъ результатъ смѣлаго и вмѣстѣ дружелюбнаго отношенія къ жизни. Мудрено ли, что общество, узнавъ наконецъ въ яркой картинѣ одну изъ тайнъ собственнаго существованія, встрѣтило картину съ увлеченіемъ и восторгомъ, которыми оно обыкновенно награждаетъ людей, от-

кывающихъ ему дорогу къ самосознанію, къ оцѣнкѣ себя и къ суду надъ собою?

П. Анненковъ.

* * *

*) Произведенія Тургенева, говоритъ Аполлонъ Григорьевъ, представляютъ собой развитіе всей нашей эпохи; съ нею вмѣстѣ, онъ любилъ, вѣрилъ, сомнѣвался, проклиналъ, вновь надѣялся и вновь вѣрилъ—не боясь никакихъ крайнихъ граней мысли или, лучше сказать, увлекаясь самъ мыслию до крайнихъ ея граней и беззавѣтно отдаваясь всѣмъ увлеченіямъ. Отъ этого, читая его послѣднее произведеніе („Дворянское гнѣздо“) — вы что ни шагъ — повѣряете процессъ, который совершался въ цѣлой эпохѣ, что ни шагъ — сталкиваетесь съ образами, возродившимися, пожалуй, въ новыхъ и лучшихъ формахъ, но которыхъ сѣмена и даже зародыши коренятся въ далекомъ прошедшемъ. Вы поднимаете слой за слоемъ — и болѣе всего поражаетесь органическою связью словъ между собою... Доказательствомъ этой органической связи служить, въ особенности въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, исторія отца и дѣда Лаврецакаго, мѣсто, которое одному критику, въ числѣ многихъ другихъ мѣстъ, показалось, какъ онъ выразился, ретроспективнымъ... Что сказалося „Дворянскимъ гнѣздомъ“? Вся умственная жизнь послѣ-пушкинской эпохи, отъ туманныхъ началъ ея въ кружкѣ Станкевича, до рѣзкаго постановленія вопросовъ Бѣлинскимъ, и отъ рѣзости Бѣлинскаго до уступокъ, весьма значительныхъ — сдѣланныхъ мыслию жизни и почвѣ... Борьба славянофильства и западничества, и борьба жизни съ теоріею — славянофильской или западною все равно — завершается въ поэтическихъ задачахъ Тургеневскаго типа побѣдою жизни надъ теоріями... Типъ, котораго послѣднимъ выраженіемъ у Тургенева является Лаврецкій, создавался долгимъ процес-

*) „Русское Слово“ 1859 г. и Сочиненія Аполлона Григорьева.

сомъ, долженъ былъ воплотить въ себѣ весь этотъ процессъ, процессъ нашей послѣ-пушкинской эпохи. Но между тѣмъ, что должно было быть, и тѣмъ, что есть, что намъ дано — значительная разница. Судить о типѣ по тому, какъ онъ явился въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и на этомъ только основаніи заключать о художественности или нехудожественности его выполненія и цѣлаго произведенія, въ которомъ онъ является — значитъ, положительно не понять дѣла по отношенію къ Тургеневу, не понять задачъ, внутреннего смысла его поэтической дѣятельности. Наше время есть время всеобщихъ исповѣдей, и такую искреннюю, полную исповѣдь болѣе всего представляютъ произведенія Тургенева вообще и „Дворянское гнѣздо“ въ особенности. Для того, чтобы понять послѣдніе результаты этой искренней исповѣди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ — нужно было прослѣдить всю борьбу, высказывающуюся въ произведеніяхъ Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значеніе стиховъ, которые онъ влагаетъ въ уста Михалевичу, и весь смыслъ того смиренія передъ народною правдою, которое проповѣдуетъ Лаврецкій въ разговорѣ съ Паншинымъ.

Аполлонъ Григорьевъ.

* * *

*) Знаніе русской жизни, и притомъ знаніе не книжное, а опытное, вынесенное изъ дѣйствительности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышленія, оказывается во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева, и особенно ярко выразилось въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, самомъ стройномъ и законченномъ изъ его произведеній. Всѣ дѣйствующія лица его романа, начиная отъ русской дѣвушки, Лизы, и кончая русскимъ лакеемъ старыхъ временъ, Антономъ, въ высшей степени оригинальны и жизненны; всѣ они созданы изъ тѣхъ элементовъ, которые всѣ мы знаемъ,

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Тоже Сочиненія Писарева.

и изъ которыхъ, со времени реформы Петра, мало по малу слагается наша общественная и частная жизнь. Всѣ они—представители настоящаго или непосредственнаго прошедшаго.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Если начать смотрѣть на „Дворянское гнѣздо“ математически—холодно, то постройка его представится безобразно недодѣланною. Прежде всего обнаружится огромная рама съ холстомъ для большой картины; на этомъ холстѣ отдѣланъ одинъ только уголокъ, или, пожалуй, центръ; по мѣстамъ мелькаютъ то совершенно отдѣланныя части, то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки. Въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ, иное живетъ полною жизнью, другое является этюдомъ, пробой. А между тѣмъ, это и не отрывокъ, не эпизодъ изъ картины; нѣтъ, это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое, органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами; и оборванные нити, оборванные связи безобразно висятъ на виду зрителей... Въ числѣ эпизодическихъ сценъ Тургеневскаго произведенія, т. е., эпизодическихъ въ отношеніи къ одному отдѣланному уголку его картины, а не къ цѣлому холсту, на которомъ задумывалась картина,—есть одна, особенно поразительная своею глубокою вѣрою въ развитіе, въ силы;—это сцена свиданія Лаврецкаго и Михалевица, сцена, въ которой рисуется цѣлая эпоха, цѣлое поколѣніе съ его стремленіями, глубоко-знаменательная историческая сцена, дополняющая изображеніе того міра, изъ котораго вышелъ „Рудинъ“.

А. Григорьевъ.

* * *

**) „Дворянское гнѣздо“ имѣло самый большой успѣхъ, который когда-либо выпалъ мнѣ на долю,

говорить поэтъ въ предисловіи къ изданію своихъ сочи-

*) *Аполлонъ Григорьевъ*. „Русское Слово“ 1859 г. и Сочиненія А. Григорьева.

**) *А. Незеленовъ*. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

неній: собственное свидѣтельство Тургенева, что въ моментъ наибольшаго развитія его творческихъ силъ русское общество сумѣло понять своего великаго изобразителя.

Ни одно изъ созданій Тургенева не проникнуто такою смѣлою, такою горячею вѣрой, ни одно не можетъ быть названо такимъ задушевнымъ созданіемъ, какъ „Дворянское гнѣздо“. Здѣсь нарисованъ чистѣйшій во всей русской литературѣ (послѣ пушкинской Татьяны) женскій образъ, образъ Лизы; здѣсь передъ нами и тотъ изъ героевъ Тургенева, въ котораго онъ наиболѣе вѣрилъ, на котораго онъ возлагалъ наибольшія надежды, — Лаврецкій; рисуя его, поэтъ изобразилъ въ чудесной исторической и бытовой картинѣ и всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ слагалась и слагается жизнь русскаго общества, какъ бы желая показать намъ, что этотъ герой его есть достигнутый результатъ великаго историческаго процесса.

„Весенній, свѣтлый день клонился къ вечеру; небольшія розовыя тучки стояли высоко въ ясномъ небѣ и, казалось, не плыли мимо, а уходили въ самую глубь лазури“.

Такими словами начинается романъ, и свѣтлый тонъ, звучащій въ нихъ, проникаетъ все произведеніе, съ начала и до конца, до тѣхъ словъ, которыми отживающій Лаврецкій привѣтствуетъ весеннюю жизнь молодого человѣческаго поколѣнія:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы... вамъ надобно дѣло дѣлать, работать, — и благословеніе нашего брата, старика, будетъ съ вами“ *).

„Дворянское гнѣздо“ — романъ въ самомъ широкомъ и полномъ смыслѣ этого слова: русская жизнь отразилась въ немъ всѣми своими сторонами: здѣсь и западничество, и славянофильство, и петербургское чиновничество съ его отвлеченнымъ высокоуміемъ, и быть деревни и города, и всѣ тѣ элементы, въ настоящемъ и въ историческомъ прош-

*) Эти прекрасныя слова, по выбору поэта новаго поколѣнія русской литературы, были написаны на лентахъ лавроваго вѣнка, несеннаго перекъ гробомъ великаго писателя юношествомъ того университета, въ которомъ онъ самъ получилъ воспитаніе.

ломъ русской жизни, изъ которыхъ слагается нашъ бытъ; съ одинаковымъ художественнымъ совершенствомъ нарисовалъ поэтъ и благородную фигуру нѣмца Лемма, и строгій образъ воспитательницы Лизы, Агафьи, и другихъ простыхъ русскихъ людей. И надо всѣмъ этимъ царить въ произведеніи, все освѣщая и осмысливая свѣтомъ своего религіознаго идеала, кроткій образъ цѣломудренной дѣвушки въ своей чистой и безупречной красотѣ.

Лучшая въ русской литературѣ критическая статья о „Дворянскомъ гнѣздѣ“ принадлежитъ Аполлону Григорьеву. Статья эта объясняетъ и всѣ предшествовавшія великому роману произведенія поэта. Анализируя „Дворянское гнѣздо“, критикъ находитъ, что романъ этотъ есть „огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины“, на которомъ „отдѣланъ только одинъ уголокъ или, пожалуй, центръ, а затѣмъ—по мѣстамъ мелькаютъ... то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки; въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ иное живетъ полною жизнью, другое является этюдомъ, пробой... это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами“.—Прощая (если только уместно это слово и выражаемое имъ чувство), прощая критику несправедливость такого отношенія къ постройкѣ романа за превосходный анализъ его характеровъ и тургеневскихъ типовъ вообще, мы останавливаемся, однако, на вопросѣ, почему показалась неудачной постройка романа лучшему изъ истолкователей поэта?.. Должно быть, потому, что героемъ произведенія взятъ (какъ онъ признаетъ) человѣкъ односторонняго направленія — „славянофилъ“ Лаврецкій, хотя этотъ славянофилъ и далекъ отъ исключительности, и отличается широтой сочувствій и пониманія.

А. Незеленовъ.

*) Послѣ Пушкина рѣдко кто изъ нашихъ писателей пользовался такой любовью публики, какъ Тургеневъ. Романъ его „Дворянское гнѣздо“ вызвалъ необыкновенный общій восторгъ. Причина его необычайнаго успѣха таится въ особенности дарованія Тургенева. Онъ умѣетъ въ не-испорченной природѣ человѣка открыть то поэтическое начало, ту божественную искру, которая — по выраженію Гоголя—хоть разъ, какъ „блистающая радость“ промчится въ жизни человѣка, чтобы согрѣть ее на все остальное время. Тургеневъ владѣетъ даромъ подмѣтить это поэтическое начало въ жизни человѣка и выразить его въ живомъ образѣ. Оттого-то онъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ новѣйшихъ писателей, очаровывалъ своихъ читателей, или—по выраженію того-же Гоголя—„окуривалъ упоительнымъ куревомъ людскія очи“. Тургеневъ вообще мастеръ рисовать русскую природу и русскихъ людей; но ни въ одномъ изъ его произведеній не видно столько свѣтлыхъ картинъ природы и ни въ одномъ съ такой любовью не раскрыта душа его *героевъ*, какъ въ романѣ „Дворянское гнѣздо“...

По содержанію своему и по обработкѣ характеровъ, романъ „Дворянское гнѣздо“ примыкаетъ къ замѣчательнѣйшимъ русскимъ романамъ съ общественнымъ значеніемъ, т. е.—къ „Евгенію Онѣгину“, „Герою нашего времени“, „Мертвымъ душамъ“ и „Обломову“. Въ этой немногочисленной семьѣ „Дворянскому гнѣзду“ принадлежитъ хорошее мѣсто. Задачи тургеневского романа родственны задачамъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Гончарова въ названныхъ сочиненіяхъ. Но „Дворянское гнѣздо“ имѣетъ на своей сторонѣ нѣкоторыя преимущества. Напримѣръ: здѣсь съ особенной полнотой охарактеризована та среда (т. е. дворянская), изъ которой наши романисты брали своихъ *героевъ*; лицъ больше, лица разнообразнѣе; анализъ причинъ умственной или нравственной несостоятельности дѣйствующихъ лицъ сдѣланъ полнѣе и отчетливѣе; герой ро-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

мана, т. е. Лаврецкій, представляетъ характеръ гораздо болѣе разработанный и законченный, нежели Онѣгины, Печорины, Тентетниковы, Обломы и Штольцы. Мало того, что Лаврецкій не „москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ“, что онъ не кичится „необъятными силами“ и вообще не довольствуется одними мечтами о дѣятельности, онъ доискивается, въ чемъ заключается его „двухъ“; нравственнымъ страданіемъ скупаютъ этотъ недостатокъ, въ которомъ, впрочемъ, не самъ виновенъ, и въ продолженіе многихъ лѣтъ дѣйствительно „вправляетъ“ себя (какъ требовалъ Михалевичъ), дѣлаетъ добро, а подъ конецъ жизни достигаетъ драгоцѣннаго убѣжденія, что хотя ему грустить и сожалѣть есть о чемъ, но „стыдиться нечего“. Такимъ образомъ, романъ этотъ выставляетъ такого героя, который естественнѣе, понятнѣе и привлекательнѣе предыдущихъ, и въ которомъ съ большею отчетливостью представленъ идеалъ правильного воспитанія, семейнаго счастья и общественной дѣятельности.

Въ *ходѣ* повѣствованія замѣчается та особенность, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повѣсть разступается, чтобы дать мѣсто вставкамъ. Эти вставки на столько существенны, что при помощи ихъ становится виднѣе смыслъ какъ отдѣльныхъ частей романа, такъ и всего сочиненія. Такъ, напримѣръ, большой эпизодъ, заключающій въ себѣ главы VIII—XVI, широкими рѣзкими чертами рисуетъ нравы и обычаи въ дворянскомъ родѣ Лаврецкихъ, потомъ—исторію дѣтства, воспитанія и студенческихъ годовъ Фёдора Лаврецкаго, наконецъ—его-же неудачную женитьбу и всѣ тѣ душевныя и семейныя потрясенія, которыя онъ пережилъ и отъ которыхъ пріѣхалъ искать спасенія на родинѣ. Второю эпизодъ: глава XXV—неожиданный пріѣздъ къ Лаврецкому стараго его товарища, Михалевича; нескончаемый горячій споръ о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, а затѣмъ—о своей молодости, разочарованіяхъ, тяжелыхъ урокахъ дѣйствительности и лучшихъ идеалахъ человѣка *образованнаго и благороднаго*. Въ спорѣ этомъ выясняются *многія стороны какъ обоихъ друзей, такъ и того времени, подѣ*

вліяніемъ котораго они провели свои университетскіе годы. — Въ другихъ-же мѣстахъ, живописная, согрѣтая чувствомъ повѣсть смѣняется сценами, цѣлымъ рядомъ разговоровъ. Сцены идутъ быстро, съ необыкновеннымъ оживленіемъ и быстротой. Въ нихъ-то съ особенной выразительностію и раскрываются характеры дѣйствующихъ лицъ, черты нравовъ изображаемаго времени и общества.

Тонъ повѣствованія вездѣ проникнутъ искреннимъ чувствомъ, мѣстами юмористиченъ, на примѣръ, въ изображеніи сентиментальной Марьи Дмитровны; мѣстами переходитъ въ явную насмѣшку, на примѣръ, въ изобличеніи щепетильнаго, тщеславнаго Паншина; мѣстами полонъ глубокаго негодованія и призранія, на примѣръ, въ изображеніи Варвары Павловны; но за то, мѣстами звучитъ высокимъ лиризмомъ, на примѣръ, при изображеніи душевныхъ движеній вообще и Лаврецкаго въ особенности. Всѣ эти элементы изложенія, взятые вмѣстѣ, составляютъ силу, красоту и увлекательность тургеневскаго романа.

Основная идея этого произведенія подсказывается авторомъ во многихъ мѣстахъ романа, на примѣръ: въ исторіи воспитанія Лаврецкимъ вообще, а Федора Ивановича въ частности; въ томъ мѣстѣ спора съ Михалевичемъ, гдѣ послѣдній клеймитъ друга своего названіемъ эгоиста и, не слушая оправданія Лаврецкаго, что его „*съ дѣтства вывигнули*“, громитъ его кличкой „*злобнаго начитаннаго байбака*“, который сознательно лежитъ, не принимается за дѣло, и это — въ такое время, когда въ Россіи, по словамъ Михалевича, „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!“ Еще въ томъ мѣстѣ, гдѣ авторъ позволяетъ читать въ душѣ Лаврецкаго новыя, живительныя впечатлѣнія деревни, сельскаго труда, сельской природы. „Вотъ когда я на днѣ рѣки:“ — думалъ Лаврецкій по возвращеніи въ деревню — „и всегда, во всякое время тиха и не спѣшна здѣсь жизнь. Кто входитъ въ ея кругъ, покоряясь: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку“

не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!— На женскую любовь ушли мои лучшіе годы: пусть-же вытрезвить меня здѣсь скука, пусть успокоить меня, готовить къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло.“ — Окончательно-же и сполна Тургеневъ высказываетъ идею романа въ эпилогѣ. Вотъ это мѣсто: „Лаврецкій самъ бы себя не узналъ, если бы могъ такъ взглянуть на себя, какъ онъ мысленно взглянулъ на Лизу. Въ теченіе этихъ восьми лѣтъ совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно *пересталъ думать о собственномъ счастьи*, о своекорыстныхъ цѣляхъ. Онъ утихъ и—къ чему таить правду?—постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою; сохранить до старости сердце молодымъ, какъ говорятъ иные, и трудно и почти смѣшно; тотъ уже можетъ быть доволенъ, кто не утратилъ кѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ.“ И далѣе, при взглядѣ на свою прошлую жизнь: „грустно стало ему на сердцѣ, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было не о чемъ, стыдиться—нечего.“ Наконецъ, въ привѣтѣ молодому поколѣнію: „играйте, веселитесь, растите молодые силы! жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть,—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать—и благословеніе нашего-брата, старика, будетъ съ вами!“ —Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій не трудно читателю вывести слѣдующія основныя мысли изъ этого романа. Во-первыхъ, что жажда наслажденій, жажда личнаго счастья обманчива: она не только *не даетъ счастья*, но вообще не можетъ дать прочнаго со-

держанія для жизни. Эта мысль развита, какъ мы видѣли, и въ романѣ Гончарова, именно въ характерѣ Ольги Ильинской и въ характерѣ Обломова. Во вторыхъ, что то поверхностное, одностороннее воспитаніе и образованіе, которое давалось въ былое время въ дворянской средѣ, не могло развить въ человѣкѣ полного, дѣятельнаго и нравственнаго характера, а служило скорѣе душевнымъ „вывихомъ“, какъ выразился Лаврецкій; и для выправки такого вывиха требовалось много силъ, а представлялось мало вѣроятности успѣха. Наконецъ, въ третьихъ, что, благодаря могучимъ преобразованіямъ, сдѣланнымъ державною рукою въ русской жизни,—и въ дворянской средѣ водворился новый, животворный духъ, исчезли тѣ условія, при которыхъ прежде уже съ дѣтства воспитаніе человѣка шло вкривь и вкось; поколѣніе, слѣдующее за Лаврецкими, можетъ развиваться правильно, жить жизнію полною, общественною, счастливою.

П. Евстафьевъ.

* * *

*) Повѣсть открывается рядомъ сценъ, на которыя выводятся слѣдующія лица: *Марья Дмитріевна Калинина*, тетка ея, *Марѳа Тимоѣевна Пестова*, *Гедеоновскій*, нѣчто въ родѣ паразита, *Паншинъ*, нѣчто въ родѣ Калиновича, *Лиза*, дочь Марьи Дмитріевны, героиня романа, *Леммъ*, нѣмецъ—музыкантъ, и *Лаврецкій*, герой романа, дальній родственникъ Пестовыхъ. Дѣйствіе идетъ необыкновенно быстро. Читатель сильно заинтересованъ Марѳой Тимоѣевной, Леммомъ и Лаврецкимъ. Героиня романа пока остается въ туманѣ, на заднемъ планѣ. Впрочемъ, это обыкновенный пріемъ г. Тургенева—сберегать, такъ сказать, силы главного лица до поры до времени, пріемъ, вѣрно рассчитанный. По обыкновенію, всѣ герои Тургенева ведутъ трагическую борьбу. И хотя борьба эта бываетъ не одинаковой степени, но въ рѣшительный моментъ ея непремѣнно слѣдуетъ сберечь ге-

¹⁾ М. Де-Пуле. „Русское Слово“ 1859 г., № 11.

рою достаточный запасъ силъ—иначе не будетъ борьбы, а слѣдовательно и поэзіи. Познакомивъ нѣсколько читателей съ своими героями, авторъ прерываетъ дѣйствіе и ведетъ въ продолженіе девяти главъ рассказъ о фамиліи Лаврецкихъ, съ исторіею которыхъ отчасти связывается и исторія Пестовыхъ. Вѣроятно, эта семейная хроника навела автора на мысль дать метафорическое названіе своей повѣсти, впрочемъ, вовсе неудачное. Исторія дома Лаврецкихъ не лишена интереса: авторъ мѣткими чертами изобразилъ членовъ этой фамиліи, насколько возможно изображеніе лицъ, стоящихъ на заднемъ планѣ. Но этотъ эпизодъ совершенно лишній и вмѣстѣ съ нѣсколькими главами, въ которыхъ является *Варвара Павловна*, жена Лаврецкаго, только бесполезно удлиняющій повѣсть и ослабляющій силу впечатлѣнія, производимаго быстро развивающеюся трагедіей. Жаль, если авторъ съ намѣреніемъ сдѣлалъ это удлиненіе, желая чтобы сочиненіе его вышло романомъ, жаль потому, что намѣреніе это не осуществилось: *Дворянское гнѣздо* все-таки повѣсть, а не романъ: повѣсть потому, что представляемая имъ драма, правда, кипящая жизнію и трагическимъ элементомъ, немногосложна и не продолжительна, ее никакъ не хватило-бы на обширное поэтическое произведеніе, какъ романъ и собственно драма. И г. Тургеневъ, по нашему мнѣнію, насилуетъ свой талантъ, прибѣгая къ различнымъ средствамъ, сдѣлать *Дворянское гнѣздо* во что-бы то ни стало романомъ. Съ этой цѣлью онъ съ особеннымъ тщаніемъ занялся отдѣлками личности Варвары Павловны. Напрасно! Конечно, личность вышла хороша; правда и то, что личность прикосновенна къ дѣлу, но она заставлястъ читателя слишкомъ долго на себѣ останавливаться, въ ущербъ цѣлостности впечатлѣнія, производимаго трагедіей. Если уже пришлось говорить о недостаткахъ новаго произведенія г. Тургенева, то, кстати, скажемъ о нихъ разомъ. Самый крупный, бросающійся въ глаза недостатокъ—двойственность характера *Лаврецкаго*: Лаврецкій, по исторіи его фамиліи, Лаврецкій, такъ сказать, закулисный, и Лаврецкій въ дѣйствиіи, передъ глазами читателей—два лица,

мало имѣющія между собою общаго. Кто знакомъ съ произведеніями Тургенева, тотъ сейчасъ-же замѣтитъ, что личность Лаврецкаго не новая. Она сильно напоминаетъ другихъ героевъ нашего автора: Лаврецкій—это *лишний человекъ* въ Божьемъ мірѣ, одинъ изъ тѣхъ *надломанныхъ* характеровъ, судьбу которыхъ такъ любитъ изображать авторъ *Записокъ Охотника*. Что Лаврецкій личность не новая—это капитальный недостатокъ *Дворянскаго иньзда*: поэту слѣдовало-бы разомъ (или много въ два-три приема) отдѣлаться отъ преслѣдующей его идеи, чѣмъ пѣть на одну и ту-же тему постоянно. Впрочемъ, этотъ капитальный недостатокъ повѣсти объясняется недостаточностью художественнаго элемента въ нашемъ авторѣ. Жаль, что г. Тургеневъ беретъ своихъ *лишнихъ людей*, своихъ *байбаковъ*, уже готовыми лишними людьми и байбаками, нигдѣ не развивая художественнаго процесса байбачества.

Байбачество порождается вообще тѣми условіями общественнаго быта, которыя парализуютъ истинно—благую и гуманную дѣятельность, не оставляя пораженному субъекту ничего, кромѣ *млннія скуки*. Есть нѣчто глубоко трагическое въ этомъ пассивномъ положеніи, въ этой горькой необходимости лежать на боку! Литературный нашъ байбакъ также не новый: его затронулъ еще Карамзинъ, обрабатывали Пушкинъ и Лермонтовъ, авторъ *Кто виноватъ*, Майковъ въ *Двухъ Судьбахъ*, Гоголь въ *Тентетниковѣ*. Но одни изъ нашихъ литературныхъ байбаковъ не что иное, какъ *Москвичи въ царьдовыхъ плащахъ*, другіе слишкомъ абстрактны, отзываются сочиненіемъ на заданную тему. *Байбачество* г. Тургенева, хотя нигдѣ не удалось ему воплотить его въ глубоко-художественный образъ, отличается необыкновенною искренностію, народностію. Искренность (т. е. прямо выхваченное изъ жизни, а не сочиненное, выдуманное) и народность мы считаемъ понятіями синонимическими. Въ искусствѣ слѣдуетъ отличать поэтическую народность отъ бытовой; послѣдняя для писателей нашего времени камень преткновенія. Какъ истинный художникъ, Тургеневъ преднамѣренно ее обходитъ.

Но за то въ изображеніи народности поэтической (т. е., въ изображеніи поэтическаго, свойственнаго народу, авторъ *Дворянскаго гнѣзда*—единственный у насъ мастеръ.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Романъ этотъ при своемъ появленіи возбудилъ очень сильное впечатлѣніе и въ публикѣ и въ критикѣ. И первая и вторая признали его въ художественномъ отношеніи произведеніемъ необыкновеннымъ, высшимъ, чѣмъ всѣ прежнія беллетристическія работы Тургенева. Но въ то же самое время нѣкоторая часть и публики и критики, по преимуществу либеральной, осталась не совсѣмъ довоЛЬНО—чѣмъ бы вы думали?—тѣмъ, что художникъ выставилъ положительный русскій типъ въ лицѣ героя романа, Лаврецаго, тѣмъ, что онъ опозтизировалъ! — его героиню Лизу. Эта героиня, по мнѣнію російскихъ либеральныхъ читателей и критиковъ, не соотвѣтствовала идеалу дѣвицы, „свободной отъ нелѣпыхъ предразсудковъ“, идеалу, въ дни появленія „Дворянскаго гнѣзда“ уже начинавшему серьезно волновать умы и сердца тогдашней интеллигенціи и литературы. Иными словами говоря, и либеральные читатели и либеральная критика выказывали недовольство тѣмъ, что Тургеневъ въ созданіи своего героя и героини захотѣлъ остаться правдивымъ и нарисовать ихъ такими, какими они явились его творчеству подъ влияніемъ наблюденій дѣйствительности; что онъ не обнаружилъ ни малѣйшаго поползновенія сыграть въ руку господствовавшей либеральной теоріи, подчиниться ея назойливому деспотизму во что бы то ни стало, хотя бы даже въ ущербъ правдѣ творчества, въ ущербъ художнической добросовѣстности. Этому не надо удивляться, у насъ это случается очень нерѣдко: какъ только писатель—будь онъ публицистъ или беллетристъ—достигнетъ полной зрѣлости своего таланта, дающей ему возможность и право выработать прямой,

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

правдивый и честный взглядъ на жизнь, а, главное, взглядъ самостоятельный, не подчиняющійся готовымъ шаблонамъ и трафаретамъ такъ называемаго общественнаго и журнальнаго мнѣнія, такъ сейчасъ же онъ возбуждаетъ недовольство въ поверхностномъ большинствѣ. За недовольствомъ сперва слѣдуетъ „охлажденіе“, а потомъ даже и нѣкотораго рода ненависть, которую испыталъ Тургеневъ позднѣе по поводу „Отцовъ и дѣтей“. Примѣровъ такихъ пассажей въ нашей литературѣ (да и въ одной ли литературѣ?) можно бы указать нѣсколько, но, боясь отвлечься въ сторону, я ограничусь однимъ: нѣчто подобное случилось съ Пушкинымъ, которымъ восторгались до изступленія, когда онъ бросалъ легкомысленной толпѣ свои „политическія“ эниграммы, пикантную сказку „Русланъ и Людмила“ и первыя свои поэмы „Кавказскій плѣнникъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, писанныя подъ вліяніемъ байроническаго настроенія, чуждаго его русской природѣ. Но когда его творчество созрѣло вполне, когда онъ освоился съ истинно народными идеалами и началъ выражать ихъ въ такихъ совершенныхъ созданіяхъ, какъ „Борисъ Годуновъ“—къ нему современное журнальное и общественное мнѣніе охладѣло. Уже гораздо позднѣе, когда великій поэтъ сошелъ въ могилу, когда „замолкли звуки дивныхъ пѣсней“, оцѣнили великую силу и правдивость его поэзіи, оцѣнили сродство его поэтическаго духа съ народнымъ духомъ. Съ Тургеневымъ будетъ то же самое: многое изъ того, что не было понято и истолковано цѣнителями и судьями при его жизни, многое изъ того, что было осуждено, какъ противорѣчащее пристрастнымъ требованіямъ партій, воскреснетъ теперь, послѣ утраты художника, въ новой силѣ и красотѣ, озаренное яркимъ ореоломъ самой глубокой правды и самой проникновенной мысли. Пройдутъ годы со смерти Тургенева, а его значеніе въ искусствѣ, жизненность его созданій будутъ выростать все болѣе и болѣе.

В. Буренинъ.

*) Темно наше прошедшее. Не освѣтилъ его еще яркимъ свѣтомъ великій историкъ-художникъ. Мало мы любимъ Россію, больше инстинктивною, часто болѣзненною любовью, нежели сознательною и глубокою—мало любимъ Россію, потому что мало любимъ нашу исторію и мало знаемъ ее.

Въ пурпурѣ и виссонѣ, озаренная блескомъ „святыхъ чудесъ“ предстоитъ предъ нами Европа. Яркіе образы тамошнихъ людей и тамошнихъ событій возстаютъ въ нашемъ воображеніи—образы великихъ королей и великихъ подвижниковъ: подвижниковъ религіи, науки, искусства,—образы великихъ тирановъ и великихъ мучениковъ, наконецъ, трагическая борьба народныхъ массъ. Возстаютъ предъ нами и эти гигантскіе образы, созданные Дантомъ и Микель-Анджело, возстаютъ и Мадонны съ ихъ воздушными и неувимыми очертаніями, какъ бы изнутри свѣтящаяся проникающимъ ихъ таинственнымъ, нездѣшнымъ свѣтомъ. Коснулось насъ и вѣяніе гигантскаго, страстнаго и безпокойнаго духа Шекспира. Намъ близки его герои, съ ихъ борьбой и страданіями, съ ихъ страстями и высокимъ примиреніемъ; намъ понятенъ его глубокій, трагическій скептицизмъ, разрѣшающійся въ *Гамлетъ* предчувствіемъ все примиряющей и все объясняющей вѣры; надъ нами долго властвовалъ этотъ мрачный и колоссальный образъ Датскаго принца,—этотъ образъ скептика, не вѣрящаго въ свой скептицизмъ, высящійся надъ міромъ, и какъ бы освѣщенный зловѣщимъ заревомъ разгорающагося пожара, который, распространяясь въ своемъ страшномъ стихійномъ стремленіи по лицу Европы, испепелить все, что тамъ было святого и великаго...

„Я знаю, что ѣду поклониться только великому кладбищу, говоритъ одинъ изъ героевъ Достоевскаго, уѣзжая за границу; но на этомъ великомъ кладбищѣ похоронены великіе мертвецы, которые предстоятъ предъ нами какъ живые, во всей своей неслыханной трагической красотѣ, и властвуютъ надъ нашею душой, и наполняютъ наше сердце

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Критическій очеркъ. М. 1894 г.

скорбію и восторгомъ; и бѣдною, тусклою кажется намъ наша жизнь, наше прошедшее, сливающееся въ нашемъ воображеніи въ одинъ какой-то тусклый тонъ...

Мы всѣ, конечно, инстинктивно и часто болѣзненно любимъ свою родину; мы не промѣняемъ ея, не промѣняемъ „эти бѣдныя селенія, эту скудную природу“ на чужія „святыя чудеса“,—но намъ надо учиться любить ее, чтобы полюбить сознательно.

Этимъ объясняются многія явленія русской жизни, этимъ объясняется странное и болѣзненное состояніе души многихъ русскихъ людей, этимъ же было навѣяно и скорбное пророчество нашего поэта:

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой,
Ни геніемъ начатаго труда...

Такъ оно и случилось: „толпой угрюмою“ прошли мимо насъ наши Онѣгины и Печорины, Бельтовы и Рудины, свидѣтельствуя своимъ существованіемъ только о тяжкомъ недугѣ поразившемъ русскую жизнь. Въ прозрѣніи своемъ поэтъ угадалъ и самую сущность людей этой „угрюмой“ толпы:

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Но угадавъ сущность явленія, поэтъ не угадалъ его причины:

Мы изсушили умъ наукою безплодной—
говоритъ онъ. Нельзя безъ улыбки читать этого стиха,
какъ и другого:

Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья
Въ бездѣйствіи состарится оно...

И въ тридцать восьмомъ году, когда появилась Дума, и теперь странными кажутся эти слова о „наукѣ“, которую

мы „изсушили умъ“: какъ тогда, такъ и теперь у насъ нѣтъ вовсе науки, а наше общество совершенно чуждо наукѣ европейской (понимая подъ словами „европейская наука“ всю совокупность многовѣковой духовной и умственной жизни Европы) и въ этомъ, быть-можетъ, одна изъ причинъ того, что наши Онѣгины и Печорины, Бельтовы и Рудины „какъ тощій плодъ до времени созрѣли“; и въ тридцать восьмомъ году и теперь странно слышать слова о томъ, что мы бездѣйствуемъ „подъ бременемъ познанья и сомнѣнья“. „Бремя познанія“ никогда не отягощало русскаго общества, и наше „сомнѣніе“ объясняется вовсе не тѣмъ, что мы, проникнувъ въ глубину познанія, усумнились въ самой его возможности. Напротивъ, мы съ большимъ энтузіазмомъ, безо всякаго сомнѣнія и критики, принимали всякую европейскую мысль и вовсе не усумнились въ самихъ себѣ, а свое безсиліе и безплодіе приписывали складу русской жизни, который, будто бы, не даетъ развернуться нашимъ силамъ. И утвердившись въ этомъ настроеніи, мы, какъ блудные сыны, покинувъ отчій домъ, расточили свое наслѣдіе, свои нравственные и умственные богатства, „съ блудницами и ложными друзьями“, и, расточивъ, питались желудями, брошенными намъ Европой.

Но что говорить о „блудныхъ сынахъ“, когда всѣмъ приходилось учиться любить Россію сознательно, какъ стали учиться славянофилы. И мы начали учиться. Мы углубились въ исторію. Въ истлѣвшихъ листахъ лѣтописей и хартій мы стали искать того, что можно полюбить въ нашемъ прошломъ, во что можно повѣрить. Изъ разрозненныхъ кусочковъ, какъ складываютъ разрѣзанную картинку, начали мы складывать свое прошедшее — и невольно складывали эти кусочки въ такую картину, которая уже впередъ готова была въ нашемъ умѣ. Не живымъ духомъ вѣяло отъ этой искусственно сложенной картины. Вѣрные черты въ ней были блѣдны и не одухотворены, невѣрные, предуманные заслоняли и то, что было въ ней вѣрнаго. *Блѣдными тѣнями* проходили предъ нами наши смиренные *иноки, подвижники, монахи-лѣтописцы, создатели нашего*

просвѣщенія, блѣдными тѣнями проходили наши князья съ ихъ усобицами, съ ихъ борьбою, съ ихъ любовью къ народу, съ ихъ незримыми душевными подвигами во время татарщины; блѣдною тѣнью проходилъ и народъ, разрозненный, несобранный и лишь безконечною силой своего духа устоявшій, сохранившій неразвращенною свою душу христіанскую и во время татарщины и въ смутное время. Блѣдными тѣнями прошли предъ нами и собиратели земли, и великіе святители, и Сергій, какъ бы въ одномъ себѣ уже давшій мѣру русской души; кровавымъ пятномъ — и только имъ, мелькнулъ намъ въ глаза Грозный; въ нестройной картинѣ, въ которой мы пытались уловить черты духа народнаго, прошла предъ нами смутная эпоха — и все это, съ самаго начала, являлось намъ нестройнымъ, отрывочнымъ, негармоничнымъ и лишь мучило наше воображеніе, дразнило нашу фантазію. На всемъ этомъ фонѣ выдѣлялось лишь одно лицо, ослѣпительно яркое, столь яркое, что самыя очертанія его трудно было разсмотрѣть, какъ трудно разсмотрѣть дискъ солнца — выдѣлялась одна мощная фигура:

.....
 Съ поднятой лапой, какъ живые
 Стояли львы сторожевые,
 И прямо въ темной вышинѣ,
 Надъ огражденною скалою
 Гигантъ съ простертою рукою
 Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ...

.....
 Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
 Какая дума на челѣ!
 Какая сила въ немъ сокрыта!
 А въ семъ конѣ какой огонь!
 Куда ты скачешь гордый конь
 И гдѣ опустишь ты копыта?
 О мощный властелинъ судьбы!
 Не такъ ли ты, надъ самой бездною,
 На высотѣ, уздой желѣзной
 Россію вздернулъ на дыбы?..

И вотъ онъ, — Петръ, сталъ между нами и древнею Русью.

Онъ заслонилъ собою свѣтъ преданья, мерцавшій изъ глубины вѣковъ, онъ указалъ намъ на иной свѣтъ, онъ привелъ насъ и заставилъ поклониться европейскимъ „святѣмъ чудесамъ“, онъ показалъ намъ путь, по которому мы пошли за обманчивыми, блуждающими огнями европейскаго прогресса—пошли за ними „толпой угрюмою и скоро позабытой“; онъ создалъ нашихъ „скитальцевъ“, онъ возростилъ этотъ „хилый“ плодъ „до времени созрѣвшій“. Эти-то „скитальцы“, ослѣпленные блескомъ лика Петра, покорились ему, въ немъ видѣли начало нашей исторіи, начало нашего самосознанія. Ослѣпленные его ликомъ, они не умѣли различить черты этого лика; они не поняли, что если въ немъ наше будущее, то въ немъ же и наше прошедшее, что онъ гигантъ, который, по выраженію Пушкина, „одинъ — цѣлая всемірная исторія“, все же только одно изъ звеньевъ въ ходѣ нашего историческаго развитія, что и онъ своею личностью свидѣтельствуетъ о величіи, силѣ и красотѣ нашего прошедшаго. Не поняли они Петра, который шелъ въ Европу не какъ робкій ученикъ, не какъ варваръ, благоговѣнно прислушивающійся къ рѣчамъ аѳинскаго софиста, а какъ исполинъ, могущественный и свободный, властною рукою бравшій тамъ все, что ему было нужно; не поняли они, что Петръ изъ сближенія съ Европой вышелъ самимъ собой, крѣпкимъ Русскимъ, духовно связаннымъ со своимъ народомъ.

Не поняли Петра и тѣ, которые учились по хартіямъ и лѣтописямъ сознательно любить Россію. Сквозь сіяніе его лика они сумѣли разсмотрѣть только черты грубыя, бросавшіяся въ глаза,—черты деспота, ломавшаго все на пути. Они видѣли, что общество страдаетъ тяжкою болѣзнью, они понимали, что эта болѣзнь есть болѣзнь прививки европейской цивилизаціи—и, негодуя на болѣзнь, они перенесли свое негодованіе и на того, кто сдѣлалъ прививку. Они отрицали Петра со всѣмъ его дѣломъ, они думали, что это дѣло надо было сдѣлать иначе, они отрицали его во имя правды мертвыхъ лѣтописей и хартій. Но отрицать его было невозможно. Онъ стоялъ предъ ними во весь свой

исполинскій ростъ. Онъ стоялъ предъ ними въ своихъ дѣянiяхъ, онъ стоялъ предъ ними уже въ незыблемой красотѣ—въ изображенiяхъ Пушкина. Нельзя было отрицать его, ибо онъ властвовалъ и надъ ними. И ихъ онъ согнулъ своею мощною рукой, и ихъ онъ заставилъ преклониться предъ „святыми чудесами“ Европы. Отъ Петра некуда было уйти: вездѣ, на всѣхъ путяхъ ихъ онъ ихъ преслѣдовалъ какъ Евгенiя въ *Мѣдномъ Всадникѣ*.

.
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко скачущемъ конѣ,—
И во всю ночь, безумецъ бѣдный
Куда стопы ни обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ...

Они хотѣли укрыться подъ сѣнью древней Руси, но онъ, все тотъ же исполинъ, преслѣдовалъ ихъ и тамъ, заслоняя собою отъ нихъ и эту древнюю Русь. Они, какъ и герой поэмы Пушкина, были „оглушены шумомъ внутренней тревоги“—тревоги произведенной въ нихъ Петромъ, и живой духъ древней Руси, сохранившійся не въ хартияхъ и лѣтописяхъ, а въ преемственномъ преданiи, не давался имъ, чуждымъ этого преданiя.

Это было положенiе истинно трагическое.

Трагично было положенiе нашихъ „скитальцевъ“, любившихъ родину болѣзненной любовью, преклонявшихся предъ Европой, но одинаково чуждыхъ и своей родинѣ и Европѣ, бродившихъ по свѣту съ опустошенной душой, — но не менѣе трагично было и положенiе тѣхъ, которые хотѣли научиться любить свою родину. Тамъ, въ Европѣ, были „святыя чудеса“, предъ которыми они преклонялись,—здѣсь, на родинѣ, для нихъ было тускло и темно въ настоящемъ, а въ прошедшемъ вставляли лишь блѣдные призраки со страницъ метвыхъ лѣтописей и хартiй... И только ликъ Петра съ „тайной въ немъ сокрытой“ одинъ возвышался надо всѣмъ, неотразимый и непонятный...

Въ Пушкинѣ разрѣшился этотъ трагизмъ. Пушкинъ вышелъ изъ этого замкнутого круга еще тогда, когда только нарождались въ нашемъ обществѣ и „скитальцы“ и люди, хотѣвшіе научиться сознательно любить Россію. Онъ просто ее любилъ, въ его душѣ жило то преемственное преданіе, которое сдѣлало для него яснымъ ликъ Петра, и подъ живымъ дуновеніемъ котораго ожили для поэта блѣдныя образы лѣтописей и хартій, облеклись въ плоть и кровь, засвѣтились кроткимъ свѣтомъ той, своей, особой красоты, которой никогда не знала Европа. Изъ самой глубины древней Руси глянулъ на насъ образъ лѣтописца Пимена и озарилъ своимъ кроткимъ свѣтомъ цѣлую полосу нашей исторіи. Этотъ свѣтъ не померкнетъ. Ни свѣтъ „святыхъ чудесъ“ Европы ни ослѣпительный блескъ лика Петрова не затмятъ его. Это свѣтъ особенный, не сливающийся ни съ какимъ другимъ—свѣтъ вѣчный, немеркнуцій...

Озаренная этимъ свѣтомъ, стала ясна Пушкину наша прошлая жизнь. Онъ далъ намъ хронику семейства Гриневыхъ, и мы почувствовали, что преданіе не прервалось дѣяніями Петра, что оно жило и живетъ въ глубинѣ жизни, въ народной массѣ, постоянно просачиваясь оттуда и въ другіе слои. Мы почувствовали, что и старикъ Гриневъ, и его сынъ, и Маша, и комендантъ Бѣлогорской крѣпости, и кривой поручикъ Иванъ Игнатьевичъ—что все это люди древней Руси, Руси озаренной кроткимъ и вѣчнымъ, немеркнувшимъ свѣтомъ лампы Пимена,—мы почувствовали, что это люди древней Руси, несмотря на ихъ напудренные парики и французскія шпаги. Мы почувствовали, что гдѣ-то притаилась заснувшая до времени, не умершая, а замершая, какъ бы замороженная волшебнымъ словомъ древняя Русь, не дающая активного отпора новымъ вѣяніямъ, но хранящая себя, свой душевный складъ, хранящая тотъ немеркнуцій свѣтъ, которымъ она жила и двигалась.

Изъ нѣдръ-то этой жизни, какъ бы замершей, какъ бы замороженной, вышли Лиза и Лаврепкій; эта же жизнь своимъ *тихимъ дыханіемъ*, слышнымъ для чуткаго художника, дала *ему то настроеніе*, плодомъ котораго было *Дворянское Гнѣздо*.

Реформы Петра взволновали русскую жизнь лишь на поверхности — волненіе не проникало въ глубину, въ народную массу. Народъ несъ всѣ тяготы, „непосильные и неслосные труды“, по выраженію самого Петра, но остался при старомъ складѣ быта. Такъ же какъ и въ допетровской Руси народъ жилъ и двигался однимъ чувствомъ религіознымъ, такъ же какъ и въ допетровской Руси для него былъ одинъ источникъ свѣта—Церковь; такъ же какъ и въ допетровской Руси народъ былъ привязанъ къ монастырю, и такъ же, во всемъ мракѣ жизни, монастырь былъ для народа свѣтлою точкой. Оттуда исходилъ свѣтъ, тамъ учился онъ, этотъ темный народъ, учился въ храмѣ, учился прислушиваясь къ разсказамъ странниковъ и богомольцевъ, учился тому, что „единое на потребу“—учился какъ ему жить и какъ умирать. Такъ же какъ и въ допетровской Руси, народъ притекалъ ко гробамъ подвижниковъ земли Русской,—и плакалъ и молился на этихъ гробахъ, не смущаемый тѣмъ, что вверху танцовали на асамблеяхъ, а потомъ на балахъ, переряживались въ волтеріанцевъ, въ масоновъ, горевали не тѣмъ горемъ, которымъ горевалъ народъ, радовались не его радостью. Смѣнялись поколѣнія, перемѣнялись моды, измѣнялись настроенія, трагедіи нашей исторической жизни перебивались комедіей, а часто и буффонадой; Онѣгиныхъ и Печориныхъ смѣнили Рудины и Бельтовы, — а народъ оставался все тотъ же и жилъ все тѣмъ же.

Реформы Петра, послѣдующее ихъ развитіе, или, вѣрнѣе, искаженіе мало затронули также и классъ помѣстнаго дворянства. Оно не сопротивлялось новымъ вѣяніямъ, оно поступилось всѣмъ вѣшнимъ, оно обрило бороду, одѣлось въ кафтанъ и прицѣпило шпагу, оно служило, когда приказывали, но тѣмъ болѣе былъ силенъ его пассивный отпоръ. Измѣнивъ вѣшнія формы быта, оно осталось при прежнемъ внутреннемъ складѣ жизни. Среднепомѣстное дворянство мало чѣмъ отличалось отъ народа во внутреннемъ складѣ быта, и вотъ почему въ этотъ слой постоянно просачивалась изъ слоя народнаго та живая вода, которою народъ утолялъ свою духовную жажду. Этотъ слой, не приставшій

къ движенію, происходившему на поверхности, какъ бы застылъ, какъ бы окаменѣлъ, жизнь въ немъ какъ бы васьнула, не задумываясь сама надъ собою. Духовнаго движенія не было въ этомъ слоѣ, но духовная жизнь теплилась въ немъ. Эта духовная жизнь была однородна съ духовною жизнью народа: тѣ же паломники одинаково заходили въ крестьянскую хату и въ барскую усадьбу, на гробахъ тѣхъ же подвижниковъ одинаково молились господа и ихъ рабы, оттуда же, изъ тѣхъ же монастырей свѣтилъ свѣтъ и тѣмъ и другимъ.

Въ исторіи рода Лаврецкихъ мы находимъ именно поэтическое изображеніе этой заснувшей, замершей жизни. Бурнымъ вихремъ врывались въ эту жизнь чуждые элементы, занесенные сюда изъ столицъ, изъ-за границы, но ни разложить эту жизнь ни поколебать ея устои они не могли. Такъ ворвался въ эту жизнь отецъ Лаврецкаго. „Отставной аббатъ изъ энциклопедистовъ влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника (отца Лаврецкаго) всю премудрость XVIII вѣка, и онъ такъ и ходилъ наполненный ею“. Вотъ этотъ-то волтеріанецъ, потомъ англоманъ, вторгнулся въ заснувшую жизнь, но скользнулъ лишь по поверхности ея, не оставивъ никакихъ слѣдовъ. Онъ мудрилъ надъ воспитаніемъ сына, но не могъ обезличить кряжистую натуру Лаврецкаго. Правда, и это воспитаніе и послѣдующія соприкосновенія съ европейскимъ просвѣщеніемъ сдѣлали брешь въ его душѣ, вытравивъ изъ нея дѣтскія вѣрованія; но не могли вытравить изъ этой души крѣпкихъ кровныхъ сочувствій къ своему, родному, не могли вытравить того, что просочилось въ эту душу изъ стихій народной. Но и дѣтскія вѣрованія все же жили въ глубинѣ души Лаврецкаго, какъ несознанное чувство, только не могли прорваться сквозь наслоенія мыслей и чувствъ, вынесенныхъ имъ изъ соприкосновенія съ европейскимъ просвѣщеніемъ. Когда Лаврецкій пошелъ въ церковь, чтобы увидать Лизу, „чудное умиленіе наполнило его душу. Ему было хорошо и немного совѣстно. Чинно стоявшій народъ, родныя лица, согласное пѣніе, запахъ ладана, длинные косые лучи отъ оконъ, самая темнота стѣнъ и сводовъ,

все говорило его сердцу. Давно не былъ онъ въ церкви, давно не обращался къ Богу: онъ и теперь не произнесъ никакихъ молитвенныхъ словъ, — онъ безъ словъ даже не молился, но хотя на мгновение, если не тѣломъ, то всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и принялъ смиренно къ землѣ“.

Такъ чувствовалъ невѣрующій Лаврецкій.

Ю. Николаевъ.

Дѣйствующія лица «Дворянскаго гнѣзда» въ отдѣльности.

Л а в р е ц к і й.

*) Высокое значеніе этого лица, несмотря на всю неполноту его изображенія, на всю робость приемовъ автора при этомъ изображеніи, на всю болѣзненную неопредѣленность отношеній къ нему автора—прежде всего въ томъ, что это лицо не сухой логическій выводъ, не итогъ, подведенный искусственно подъ извѣстными данными, а живорожденное, выношенное въ душѣ созданіе поэта, что онъ лицо художественное... Лицо Лаврецкаго, даже такъ какъ оно является видимо недоѣланнымъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“—представитель (хотя никакъ не преднамѣренный) сознанія нашей эпохи. Лаврецкій—уже не Рудинъ, отрѣщенный отъ всякой почвы, отъ всякой дѣйствительности, — но, съ другой стороны, уже и не Бѣлкинъ, стоящій съ дѣйствительностію въ уровень. Лаврецкій—живой человекъ, связанный съ жизнію, почвою, преданіями,—но прошедшій бездны сомнѣнія, внутреннихъ страданій, совершившій нѣсколько моральныхъ скачковъ. Отсюда выходятъ весь его душевный процессъ, вся драма его отношеній... Онъ представитель *нашей* эпохи, эпохи самой близкой къ намъ—и какъ такового, его надобно было отлѣпить, отгнѣить отъ представителей эпохъ предшество-

*) А. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева и „Русское Слово“ 1859 г., № 8.

вавшихъ. Средство для такого отдѣленія Тургеневъ избралъ самое естественное — его родословную, образъ его дѣда и отца...

На Лаврецкаго падаетъ весь свѣтъ въ картинѣ; его лично отдѣняетъ множество фигуръ и подробностей, а тѣ психологическія задачи, которыхъ онъ взятъ представителемъ, положительно отдѣняются всѣми фигурами и всѣми подробностями. Такъ и слѣдуетъ, такъ родилось, а не сочинилось созданіе въ душѣ артиста; фигура Лаврецкаго и психологическія задачи, которыхъ представителемъ онъ является, имѣютъ важное значеніе въ нравственномъ, душевномъ процессѣ поэта и нашей эпохи. Лаврецкій, прежде всего,—послѣднее (т. е. до сихъ поръ) слово его борьбы съ типомъ, который тревожилъ и мучилъ его своей страстностью и своимъ крайнимъ, напряженнымъ развитіемъ, типомъ, дразнившимъ его, и который онъ самъ додразнилъ нѣкогда въ себѣ до созданія Василія Лучинова. Лаврецкій — полнѣйшее (покаместъ, разумѣется) выраженіе протеста его за доброе, простое, смиренное, противъ хищнаго, сложно-страстнаго, напряженно-развитого. Между тѣмъ личность эта вышла сама чрезвычайно сложною, можетъ быть, потому, что самая борьба поэта съ противоположнымъ типомъ далеко еще не покончена, или поканчивалась имъ доселѣ насильственно и постоянно отдается, какъ отдавалась она явно въ Рудинѣ.

Спартанская система воспитанія, какъ всякая теорія, нисколько не приготовила Лаврецкаго къ жизни... Лучшее, что дала ему жизнь, было сознаніе недостатковъ воспитанія. Превосходно характеризуетъ Тургеневъ умственное и нравственное состояніе своего героя въ эту эпоху развитія. „Въ послѣднія пять лѣтъ“, говоритъ онъ о Лаврецкомъ, „онъ много прочелъ и кое-что увидѣлъ; много мыслей перебродило въ его головѣ; любой профессоръ позавидовалъ-бы нѣкоторымъ его познаніямъ, но въ то-же время онъ не зналъ *многого*, что каждому гимназисту давнымъ *давно* извѣстно. Лаврецкій сознавалъ, что онъ не свободенъ, онъ втайнѣ сознавалъ себя чужакомъ“. Опять вѣрная, ху-

дожественно и въ высшей степени, вѣрная-же историческая черта, характеризующая множество людей послѣ-пушкинской эпохи. Это уже не та эпоха, когда

...учились по немногу,
Чему нибудь и какъ нибудь.

Нѣтъ—это эпоха серьезныхъ знаній съ огромными пробѣлами, знаній, прибрѣтенныхъ большею частію саморазвитіемъ, самомышленіемъ — эпоха Бѣлинскихъ, Кольцовыхъ и многихъ, весьма многихъ изъ насъ, если не всѣхъ поголовно... Особенность Лаврецкаго въ томъ еще, что надъ нимъ тяготѣетъ совершенно уродливое воспитаніе.

Ан. Григорьевъ.

* * *

*) Въ Лаврецкомъ вы видите передъ собою добродушнѣйшее созданіе, румяное, полное, симпатичное, повидимому, неспособное къ глубокому страданію. Такимъ является образъ Лаврецкаго въ рассказѣ автора, прежде чѣмъ выступаетъ передъ читателемъ, какъ дѣйствующее лицо. Но Лаврецкій въ трагедіи, т. е. въ самомъ дѣйствиіи повѣсти, совершенно иной: при томъ же добродушіи и симпатичности, онъ способенъ къ глубокому страданію, котораго читатель никакъ бы не предполагалъ отъ Лаврецкаго перваго. Авторъ, правда, безпрестанно наводитъ насъ на мысль, что, несмотря ни на что, натура Лаврецкаго еще сохранила, послѣ испытанныхъ имъ ударовъ, свои здоровыя силы: онъ, видите-ли, научился пахать землю, сдѣлался отличнымъ хозяиномъ. Но, кто вникнулъ глубже въ характеръ борьбы, выдержанной Лаврецымъ, тотъ увидитъ, что авторъ сдѣлалъ тутъ неудачную натяжку: подобная борьба такого свойства, что ни съ чѣмъ не миритъ, ничего не оставляетъ: весь человѣкъ падаетъ въ изнеможеніи подъ ея ударами. Этотъ недостатокъ, эта замѣтная двойственность въ характерѣ Лаврецкаго объясняются свой-

ствомъ по преимуществу поэтическаго таланта автора: Тургеневъ взялъ Лаврецкаго слишкомъ рано, далеко до начала трагической борьбы, на что нашъ авторъ великій мастеръ, и не нашелъ достаточно матеріаловъ для его воплощенія, а потому и личность вышла блѣдна.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Характеръ Лаврецкаго разработанъ Тургеневымъ съ художественною тонкостью и любовью. Для того, чтобы сдѣлать читателю понятнымъ плохое воспитаніе Лаврецкаго, а также для того, чтобы объяснить, какъ умный, серьезный Лаврецкій могъ ошибиться въ выборѣ жены, авторъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ. Исторія начинается съ ихъ жестокаго прадѣда, а оканчивается отцомъ-англоманомъ. Этотъ англоманъ задумалъ дать своему сыну (т.-е. герою романа) такое воспитаніе, чтобы юноша вышелъ совершеннѣйшимъ спартанцемъ, былъ бы чуждъ слабостей человѣческой природы. И для этого, между прочимъ, англоманъ держалъ своего сына вдали не только отъ всякаго женскаго вліянія, но даже отъ знакомства съ женщинами. Въ мастерской, живой и вѣрной картинѣ фамиліи Лаврецкихъ видно, какъ въ зеркалѣ, ужасное состояніе образованныхъ людей въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти нынѣшняго. Видны крупныя, рѣзкіе очерки жестокихъ старинныхъ баръ—причудливыхъ, самоуправныхъ, а иногда и легко себѣ представить, какъ подъ вліяніемъ такихъ лицъ жизнь людей замирала, а не развивалась. По этой исторіи Лаврецкихъ видно, что дворянинъ того времени вступалъ въ жизнь безъ достаточной нравственной подготовки: круглымъ невѣждою въ наукахъ и безъ малѣйшаго порядочнаго воспитанія. Если бы Тургеневъ не вставилъ въ романъ длиннаго эпизода о фамиліи Лаврецкихъ (главы VIII — XVI), то было-бы непонятно, какимъ образомъ 23-хъ лѣтній *спар-*

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

танецъ могъ принять первую красивую женщину за олицетвореніе всего нравственнаго, прекраснаго, благороднаго въ мірѣ.

Варвара Павловна разрушила это представленіе. Но несчастіе было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу. Оно сдѣлало его снисходительнымъ къ людямъ; отъ неопредѣленныхъ стремленій и безцѣльныхъ трудовъ оно привлекло его къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ и печалямъ ближнихъ. Лаврецкій у себя въ деревнѣ совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ въ Москвѣ и Парижѣ. Онъ сталъ добръ, симпатиченъ; онъ радуется успѣхамъ людей, какъ своему собственному счастью; онъ какъ будто вновь родился для новой, лучшей жизни. Такимъ является онъ въ то время, когда между нимъ и Лизой установились дружескія отношенія, и не замѣтно для нихъ самихъ росли и развивались въ другія, болѣе нѣжныя чувства. „Никто не знаетъ,—говоритъ авторъ,—никто не видѣлъ и не увидитъ, какъ призванное къ жизни и расцвѣтанію наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ жизни“. Съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Тургеневъ раскрываетъ читателю тѣ состоянія души, которыя переживаетъ его герой; когда между нимъ и Лизой отношенія устроились было такъ хорошо и—во второй разъ Варвара Павловна разрушила ихъ счастье. Авторъ, незамѣтно для читателя, учитъ его сочувствовать Лаврецкому, уважать его страданія. Эти страданія, дѣйствительно, дорисовываютъ его нравственный образъ. Состояніе души его особенно отчетливо видно въ двухъ совершенно несходныхъ положеніяхъ Лаврецкаго: *первое* — когда съ разбитымъ навѣки счастьемъ бѣднякъ старается взять себя въ руки и, стиснувъ зубы, велѣтъ душѣ своей молчать; *второе* — въ самомъ концѣ романа. Здѣсь авторъ вывелъ поразительный контрастъ: съ одной стороны, молодое поколѣніе съ звонкимъ смѣхомъ и довѣрчивымъ взглядомъ на будущее, а рядомъ съ нимъ: драгоценныя, хотя томительныя воспоминанія Лаврецкаго объ исчезнувшей молодости, о мелькнувшемъ счастьи; кроткій, искренній его привѣтъ молодежи; тихое, полное тоски,

обращеніе къ самому себѣ: „здравствуй, одинокая старость! догарай, бесполезная жизнь“. Окончательно въ душѣ читателя Лаврецкій оставляетъ впечатлѣніе глубокое и отрадное. Читатель чувствуетъ и понимаетъ, въ какой мѣрѣ страданія и несчастія очистили и возвысили его душу до той степени, на которой человѣкъ становится снисходителемъ къ людямъ и свое собственное благополучіе полагаетъ въ содѣйствіи счастью другихъ людей.

П. Евстафьевъ.

* * *

*) Тургеневъ умѣлъ поставить Лаврецкаго такъ, что надъ нимъ трудно иронизировать, хотя онъ и принадлежитъ къ тому роду типовъ, на которые мы смотримъ съ усмѣшкой. Драматизмъ его положенія заключается уже не въ борьбѣ съ собственнымъ безсиліемъ, а въ столкновеніи съ такими понятіями и нравами, съ которыми борьба дѣйствительно устрасить самого энергическаго и смѣлаго человѣка. Онъ женатъ, и отступилъ отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое, свѣтлое существо, воспитанное въ такихъ понятіяхъ, при которыхъ любовь къ женатому человѣку есть ужасное преступленіе. А между тѣмъ она его тоже любитъ, и его притязанія могутъ непрерывно и страшно терзать ея сердце и совѣсть. Надъ такимъ положеніемъ поневолѣ задумаешься горько и тяжело, и мы помнимъ, какъ болѣзненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкій, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: „ахъ, Лиза, Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!“ и когда она, уже смиренная монахиня въ душѣ, отвѣтила: „вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“, и онъ началъ было: „да, потому что вы...“ и не договорилъ... читатели и критики „Дворянского гнѣзда“, помнится, восхищались многимъ другимъ въ этомъ романѣ. Но для насъ существеннѣйшій интересъ его заключается въ этомъ трагическомъ столкновеніи Лаврецкаго, пассивность кото-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, томъ 3.

раго именно въ этомъ случаѣ мы не можемъ не извинить. Здѣсь Лаврецкій, какъ будто измѣняя одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная съ первой встрѣчи съ Лизой, когда она шла къ обѣднѣ, онъ во всемъ романѣ робко склоняется предъ незыблемостью ея понятій, и ни разу не смѣетъ приступить къ ней съ холодными разувѣреніями. Но и это, конечно, потому, что здѣсь пропаганда была бы самымъ дѣломъ, котораго Лаврецкій, какъ и вся его братія, боится. При всемъ томъ, намъ кажется (по крайней мѣрѣ, казалось при чтеніи романа), что самое положеніе Лаврецкаго, самая коллизія, изображенная г. Тургеневымъ и столь знакомая русской жизни, — должна служить сильною пропагандою и наводить каждаго читателя на рядъ мыслей о значеніи цѣлаго огромнаго отдѣла понятій, заправляющихъ нашею жизнію. Теперь, по разнымъ печатнымъ и словеснымъ отзывамъ, мы знаемъ, что были не совсѣмъ правы: смыслъ положенія Лаврецкаго — былъ понятъ иначе или совсѣмъ не выясненъ многими читателями. Но что въ немъ есть что-то законченно-трагическое, и не призрачное, — это было понятно, и это, вмѣстѣ съ достоинствами исполненія, привлекло къ „Дворянскому гнѣзду“ единодушное, восторженное участіе всей читающей русской публики.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Лаврецкій — человѣкъ много пережившій, испытавшій и радость и горе, вдумывавшійся въ себя и въ свои отношенія къ людямъ, и выработавшій себѣ, наконецъ, путемъ серьезныхъ занятій, путемъ размышленія и опыта, умѣнье владѣть своимъ внутреннимъ міромъ, сдерживать порывы чувства и мириться съ жизнію, несмотря на ея мрачныя стороны, несмотря на тѣ страданія, которыя выпадаютъ въ ней на долю людей съ развитымъ умомъ и нѣжнымъ чувствомъ. Все участіе Лаврец-

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Также Сочиненія Писарева.

каго въ дѣйствіи романа представляется рядомъ не заслуженныхъ страданій, среди которыхъ крѣпнеть и формируется его мужественная личность, крѣпнеть не черствѣя, не теряя живой воспримчивости ко всему изящному въ природѣ и въ человѣкѣ. Его, какъ онъ самъ выражается, съ дѣтства вывихнули уродливымъ воспитаніемъ, отъ послѣдствій котораго ему трудно оправиться до зрѣлаго возраста; въ немъ пробудили любознательность и не направили ея, ему не дали даже элементарныхъ свѣдѣній, а между тѣмъ, бросили въ его свѣжую и здоровую голову нѣсколько идей, взятыхъ изъ философіи XVIII вѣка, пересаженныхъ на русскую почву и понятыхъ особеннымъ, оригинальнымъ образомъ; суровымъ, почти спартанскимъ воспитаніемъ ему придали полноту и крѣпость физическихъ силъ—и не указали исхода этимъ силамъ. До двадцатитрехлѣтняго возраста его не познакомили ни съ жизнію ни съ наукою, въ немъ развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущеннаго времени, приняться за перевоспитаніе самого себя. Но, между тѣмъ, жизнь не ждетъ, и предъявляетъ свои права, заставляетъ его идти впередъ тогда, когда нѣтъ еще ни опытности, ни умѣнья осмысливать свои поступки, когда дѣло перевоспитанія только что началось. Лаврецкій дѣлаетъ промахъ въ жизни,—промахъ, не легшій пятномъ на его совѣсть, но окончательно испортившій его будущую участь. Послѣдствія этого промаха—неудачнаго и неосторожнаго выбора жены, по первому впечатлѣнію, развиваются въ романѣ и составляютъ его главную завязку. Лаврецкій является на сцену уже человѣкомъ 35 лѣтъ, уже знакомый съ тяжелымъ страданіемъ. Первое впечатлѣніе горести уже пережито имъ; но въ душѣ остались неизгладимые слѣды. Онъ не далъ горю опутать и обезсилить себя, не сталъ ими рисоваться передъ самимъ собою, но, взглянувъ въ свое положеніе, сказалъ себѣ просто, что не видитъ впереди возможности счастья и наслажденія; онъ *мирится съ этою безнадежностію и при этомъ примиреніи умѣетъ уберечься отъ той апатіи, въ которую часто впадаютъ*

люди, обманутые жизнью. Наслаждения жизни кончились, говорит онъ самъ себѣ, но осталась обязанность, и это сознаніе неисполненнаго долга,—сознаніе, что онъ можетъ и долженъ быть полезенъ окружающимъ и зависящимъ отъ него людямъ, даетъ ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего отъ жизни. Лаврецкій не признаетъ себя разочарованнымъ, и онъ дѣйствительно не разочарованный; онъ не возводитъ собственнаго, случайнаго несчастія въ общее правило, не смотритъ съ недовѣріемъ и насмѣшкою на чужія радости, не чувствуетъ къ людямъ отвращенія, не отвергаетъ въ нихъ существованія добра, хотя, конечно, не вѣритъ ему съ прежнимъ, юношескимъ увлеченіемъ. Онъ не можетъ себѣ представить, чтобы самъ онъ могъ еще разъ помолодѣть душою и испытать счастье взаимной любви; но когда это счастье встрѣчается съ нимъ, онъ не отталкиваетъ его, начинаетъ ему вѣрить и предается своему новому чувству безъ боязни, безъ мрачныхъ предчувствій, съ полнымъ, святымъ наслажденіемъ, которымъ онъ дорожитъ тѣмъ болѣе, что уже знаетъ ему цѣну и что не смѣлъ болѣе надѣяться на него... Онъ не отступаетъ отъ борьбы, пока можно бороться, и умѣетъ покоряться молча, съ мужественнымъ достоинствомъ тамъ, гдѣ нѣтъ другого исхода. Последнею способностью обладаютъ немногіе. Ему никогда не измѣняютъ русскій незатѣйливый, но прочный и здоровый практическій смыслъ и русское добродушіе, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и не приготовленное. Лаврецкій простъ въ выраженіи радости и горя; у него нѣтъ возгласовъ и пластическихъ жестовъ, не потому, чтобы онъ подавлялъ ихъ, а потому, что это не въ его природѣ; онъ, какъ русскій человѣкъ, страдаетъ про себя, и способенъ скорѣе къ тихому чувству, къ задушевности, къ продолжительной тоскѣ, о которой поютъ наши народныя пѣсни, нежели къ бурнымъ взрывамъ отчаянія и къ стремительнымъ движеніямъ страсти. Въ драматическія минуты его жизни въ немъ иногда шевелятся грубыя, дикія чувства; но они не омрачаютъ разсудка и тотчасъ подавленные раз-

мышленіемъ, замирають въ груди, не найдя себѣ выхода. У Лаврецаго есть еще одно чисто русское свойство: легкій, безобидный, полузадумчивый, полуигривый юморъ проникаетъ собою почти каждое его слово; онъ добродушно шутить съ другими и часто, смотря со стороны на свое положеніе, находитъ въ немъ комическую сторону, и съ тою же добродушною шутливостью относится къ собственной личности и затрогиваетъ такіе предметы, которыхъ воспоминаніе заставляетъ сердце обливаться кровію. Когда случается ему укорять себя въ чемъ-нибудь, онъ рѣдко укоряетъ серьезно, съ желчію или съ негодованіемъ. Онъ никогда не впадаетъ въ трагизмъ; напротивъ, отношеніе его къ собственной личности тутъ остается юмористическимъ. Онъ добродушно, съ отгѣнкомъ тихой грусти, смѣется и надъ собою и надъ своими увлеченіями и надеждами. Личность Лаврецаго рельефно выдвигается въ романѣ Тургенева, тѣмъ болѣе, что она отгѣнена съ двухъ сторонъ: съ одной стороны, ее отгѣняетъ космополитъ и мелкій эгоистъ Паншинъ; съ другой—энтузіастъ, мечтатель, претендующій на титулъ фанатика, Михалевичъ... Столкновеніе Лаврецаго съ Паншинымъ показываетъ различіе между заносчивымъ диллетантомъ-космополитомъ, судящимъ о народности, которой онъ не знаетъ, и человѣкомъ жизни, патріотомъ безъ претензій, относительно знающимъ нужды своихъ соотечественниковъ и дѣйствительно сочувствующимъ интересамъ ихъ развитія. Столкновеніе Лаврецаго съ Михалевичемъ обнаруживаетъ слабыя стороны ихъ обоихъ. Безцѣльный энтузіазмъ Михалевича составляетъ рѣзкую противоположность съ медленностію и нерѣшительностію Лаврецаго. Первый кричитъ о долгѣ и дѣятельности, но не выходитъ изъ общихъ мѣстъ и самъ не можетъ опредѣлить, чего онъ требуетъ; второй знаетъ свои обязанности, но, по свойственной русскимъ людямъ обломовщинѣ, долго собирается взяться за дѣло, мѣшкаетъ и бесполезно тратитъ время. Лаврецкій не энергическій человѣкъ, хотя въ немъ *много жизненныхъ силъ и здороваго ума; недостатокъ энергій, которымъ вообще страдаетъ русская народность, про-*

исходитъ въ немъ, быть-можетъ, просто отъ фізіологическихъ или климатическихъ условій. Оттѣняя собою его хорошія качества, эта черта придаетъ его личности послѣднюю опредѣленность и сообщаетъ его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкаго во все продолженіе романа совершенствуется и очищается путемъ тяжелыхъ испытаній; она достигаетъ полного своего развитія уже въ эпилогѣ. Лаврецкій является тамъ человѣкомъ пожилымъ; онъ кончилъ навсегда личные расчеты съ жизнію, взялся за серьезное и полезное дѣло, и въ этомъ дѣлѣ нашелъ себѣ ежели не счастье, то, по крайней мѣрѣ, разумное, достойное мыслящаго человѣка успокоеніе.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Авторъ не оставилъ безъ разрѣшенія и вопроса, почему умный, серьезный Лаврецкій могъ такъ ошибиться въ выборѣ жены. Для поясненія этого обстоятельства, г. Тургеневъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ, начиная отъ прадѣда ихъ, разбойника, грабящаго и злодѣйствующаго съ вѣдома, почти съ позволенія общества, до отца, англomана, преобразователя, женившася случайно на крѣпостной дѣвушкѣ и сдѣлавшася трусомъ и тряпкой, по выраженію Гоголя, какъ только жизнь немножко серьезнѣе заглянула ему въ лицо. Первый билъ сосѣдей, и вѣшалъ „мужиковъ за ребра“, послѣдній заводилъ англійское хозяйство и старался образовать изъ сына своего *спартанца*, незнакомаго со слабостями человѣческой природы. Такъ было до 1825 года, когда „близкіе знакомые и пріатели Ивана Петровича (отца нашего героя) подверглись тяжкимъ испытаніямъ“, и самъ онъ вдругъ притихъ и сжался до глубочайшаго ничтожества, до невыразимой пошлости. Всѣ эти страницы у г. Тургенева, съ ихъ быстрыми, но крупными очерками лицъ, гдѣ проходятъ, почти какъ видѣнія, разоренныя и истасканныя графини о-бокъ съ любов-

*) П. В. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова. Спб. 1879 г.

никами своими, бѣдныя дворовыя дѣвушки, попавшія въ господа, дикіе помѣщики, подъ взглядомъ которыхъ замираетъ всякая жизнь въ нѣмомъ трепетѣ и безъ сопротивленія,—принадлежать къ числу мастерскихъ страницъ романа. Это вѣрная, оживленная картина русскихъ образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти настоящаго! Нужно ли говорить, что она далеко оставляетъ за собою недавнія безобразныя попытки изобразить близкую намъ старину посредствомъ голыхъ выписокъ изъ „записокъ“ и „памфлетовъ“, скрѣпляя ихъ только циническими намеками? Нѣтъ ничего общаго въ картинѣ г. Тургенева съ этою возмутительною игрою на почвѣ исторіи, игрою, которую еще въ добавокъ хотѣли намъ выдать за свободное, творческое созданіе, какъ будто изъ подобранныхъ цитатъ, изъ коллекціи скандальныхъ анекдотовъ можетъ выйти что-либо, кромѣ смѣшенія, поясняющаго только малую совѣстливость писателя передъ собою и передъ публикой. Изъ картины г. Тургенева оказывается, что нашъ Лаврецкій нѣсколько разъ уже былъ *надорванъ* въ жизни, прежде чѣмъ послѣдняя шутка жены подкосила его существованіе. Такъ или иначе, но и тутъ все поколѣніе, къ которому онъ принадлежитъ, раздѣляетъ его участь. Почти каждый изъ его членовъ и разными способами былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ являлся къ жизни и дѣятельности; жизнь и дѣятельность валили его только окончательно съ ногъ на землю. На школьныхъ скамьяхъ, на первыхъ порывахъ молодости или дома передъ требованіями воспитателей начиналась для каждаго нравственная діета, направленная къ укрощенію, извращенію или къ отмианію природныхъ силъ человѣка. Двадцати трехъ лѣтъ *спартанецъ* былъ круглый невѣжда въ наукахъ, а еще болѣе въ жизни. Варвара Павловна явилась первымъ существомъ, которое приняло съ улыбкой и доброжелательствомъ этого юнаго „Алкида“, какъ называетъ его авторъ, описывая его мужественную наружность, скрывавшую младенческое сердце и невѣдѣніе. Алкидъ *ничего не разбиралъ*. Въ одномъ имени женщины, въ одномъ *ея образѣ* заключалось для него полное представленіе всего

нравственнаго, благороднаго и чистаго въ мірѣ. Когда Варвара Павловна разрушила это представленіе, то она разрушила не одну идею, а цѣликомъ всю жизнь человѣка. Несчастіе, однакожъ, было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу, надѣливъ ее тѣмъ мудрымъ снисхожденіемъ, о которомъ говоритъ поэтъ, дало пониманіе русской жизни, подобно спасительному балласту, привлекло его изъ обширныхъ, но неопредѣленныхъ стремленій, къ землѣ, къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ, печалямъ и волненіямъ ближнихъ. Все существо его сдѣлалось чрезвычайно добрымъ, симпатическимъ: сердца окружающихъ покоряются ему невольно, увлеченныя его общимъ благорасположеніемъ. Онъ радуется успѣхамъ людей, ихъ радостямъ, какъ собственному счастью, и только, обращаясь на себя, желалъ бы себѣ еще разъ молодости, еще разъ любви и еще разъ жизни. Какъ ни странны и мало разумны подобныя желанія, но они почти сбываются, когда сильный ударъ жениной руки разрушаетъ его воздушный замокъ... Таковъ Лаврецкій замѣнившій Паншина въ сердцѣ Лизаветы Михайловны...

Лиза и Лаврецкій лишены всякой возможности существовать въ мірѣ на тѣхъ основаніяхъ, какія выпали имъ на долю, или какія они избрали себѣ. Бѣдственная, роковая невозможность эта оказывается съ перваго появленія ихъ на сцену отсутствіемъ свободнаго движенія, мертвенностью воли и безсиліемъ передъ гнетомъ внѣшняго міра, то-есть всѣми признаками зловѣщей агоніи, поэтической характеръ которой не спасаетъ однакожъ человѣка отъ гибели. Они стоятъ передъ читателемъ открытые для всѣхъ житейскихъ бурь и не имѣя ничего въ рукахъ, чѣмъ бы защититься. Со всѣми ихъ качествами, какъ нельзя болѣе походятъ они на тѣхъ страдальцевъ романической школы живописи, которыхъ мы видимъ на картинахъ о-бокъ съ орудіями ихъ страданій, покорно принимающихъ всѣ удары враговъ, посылая только угасающій взоръ къ звѣздамъ п ласковому небу. Все ихъ значеніе заключается въ достоинствѣ характера и въ удивительно-глубокомъ выраженіи фи-

зіоміи, но существенный признакъ жизни—движеніе—такъ чуждъ имъ, что, кажется, съ первымъ шагомъ на встрѣчу обстоятельствъ или на борьбу съ ними и они лишились бы всего своего величія. Вотъ почему и фигуры Лизы и Лаврецкаго написаны авторомъ въ легкомъ, полупрозрачномъ тонѣ, который не даетъ усмотрѣть и распознать тотчасъ же ихъ лица и свойственное имъ выраженіе. Мѣсто сильныхъ красокъ жизни замѣнено тутъ безчисленными и тончайшими чертами; каждая изъ нихъ отвѣчаетъ какой-либо тайной сторонѣ ихъ существованія, и каждая будитъ въ душѣ читателя множество личныхъ воспоминаній, множество знакомыхъ и родныхъ ему ощущеній. Удивительное обаяніе, производимое героями, зиждется именно на обилии, выразительности и значеніи этихъ подробностей, бросающихся въ глаза съ перваго же раза, между тѣмъ какъ полный образъ героевъ возстаетъ уже гораздо позднѣе и требуетъ уже нѣкотораго размышленія. Оно и понятно. Единственная сила, сосредоточивающая человѣка, мгновенно объясняющая его для всѣхъ взоровъ, опредѣляющая и обнажающая его, есть опять-таки движеніе, или, другими словами, употребленіе воли, борьба за себя и свои основанія. Но Лиза и Лаврецкій не борются, не отстаиваютъ своей жизни, а только заняты мыслію, какъ бы благороднѣе, достойнѣе и великодушнѣе подчиниться всему, чего потребуютъ, къ чему принудятъ ихъ обстоятельства. Страдательное положеніе есть ихъ удѣлъ на землѣ, и притомъ удѣлъ, столько же данный имъ извнѣ, сколько и взятый на себя по охотѣ, несмотря на нѣкоторыя попытки Лизы и Лаврецкаго освободиться отъ него, противорѣчащія основному ихъ характеру, и потому всегда неудачныя, какъ бываетъ безслѣдна всякая вснышка. Гдѣ же причина, спрашивается, этого нравственнаго паралича, поразившаго ихъ въ серединѣ жизни? Прежде чѣмъ дѣйствовать на внѣшній міръ, всякому человѣку необходимо позаботиться объ устройствѣ и организаціи своего собственнаго личнаго и внутренняго міра. Для того, чтобы *вести какую-либо борьбу*, необходима твердая точка опоры, *которая нигдѣ не найдется, кромѣ насъ же самихъ*. У нихъ,

болѣе счастливыхъ поколѣній, первые зачатки нравственнаго капитала, столь нужнаго для развитія природныхъ силъ въ человѣкѣ, достаются, такъ-сказать, по наслѣдству и даромъ. Лизѣ и Лаврецкому ничего не было оставлено. Вдохновеніе часто приходило на помощь первой, но не освобождаютъ ея совершенно отъ необходимости внутренней работы, а еще менѣе освобожденъ былъ отъ нея Лаврецкій. Они должны были сами наживать всякую общечеловѣческую мысль, всякое свѣтлое, коренное правило жизни, и притомъ еще безпрестанно повѣрять на самихъ себѣ всякій моральный принципъ, чтобъ удостовѣриться не фальшиваго ли онъ чекана и достоинства. Такъ мало достовѣрности представляли имъ тѣ признанные и законные авторитеты, которыми другіе народы слѣпо и охотно подчиняются. Но заниматься устроеніемъ своихъ домашнихъ, такъ-сказать, душевныхъ дѣлъ и въ то же время принимать всѣ вызовы обстоятельствъ и храбро выдерживать безконечныя дуэли съ случайностями жизни, — работа вообще очень тяжелая. Лиза и Лаврецкій ограничились одною половиною ея и, обратили всю энергію воли исключительно на самихъ себя. Можетъ быть, покажется страннымъ, что мы говоримъ объ энергіи и волѣ нашей четы послѣ того, какъ признали удѣломъ ихъ на землѣ страдательное положеніе по преимуществу. Оно и точно странно, если глядѣть на нихъ со стороны дѣйствующаго или по крайней мѣрѣ волнующагося міра, гдѣ обыкновенно стоитъ читатель, и гдѣ они неохотно, да и весьма неловко показываются; но если посмотрѣть на нихъ въ ихъ душевномъ ульѣ, въ тайной ихъ работѣ надъ собою, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ. Въ царствѣ растений есть роды, обозначаемые названіемъ *тайнобрачныхъ*; между русскими людьми есть многочисленный классъ, который можно бы назвать *тайнорабочимъ*: онъ неутомимо, упорно трудится надъ собою подъ покровомъ глубочайшаго молчанія, въ глухомъ, незримомъ тайникѣ собственнаго духа. Отсюда и явленіе, часто повторяющееся въ нашей жизни. Внѣшній міръ, напримѣръ, по прежнему стоитъ, какъ стоялъ, каждый и всѣ оставляютъ его жить въ покоѣ, какъ живетъ,

но взгляды на него уже измѣнились, опередилъ его и даже покинулъ. Со словъ нашего автора, мы сказали, что Лаврецкій былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ наступила пора обнаруженія силъ, и это, кажется намъ, несомнѣнно въ отношеніи той стороны его существованія, которая соприкасается съ живымъ и дѣйствующимъ міромъ; со словъ же нашего автора, можемъ сказать наоборотъ, что Лаврецкій потратилъ огромное количество труда и силы на другую, нравственную сторону своего существованія. Между нимъ и отцомъ его англومانомъ лежитъ, на примѣръ, цѣлая бездна развитія, но кто же вырылъ ее, какъ не Лаврецкій—сынъ? Въ превосходныхъ сценахъ, изображающихъ намъ психическое состояніе Лаврецкаго, по полученіи въ Парижѣ несомнѣннаго доказательства измѣны жены и собственнаго позора, мы видимъ, какъ пробуждаются въ немъ мрачныя силы его родоначальниковъ, отцовъ и дѣдовъ его, и какъ твердо побѣждаетъ онъ ихъ въ себѣ. Страшныя испытанія, какимъ подвергаетъ его Варвара Павловна, по возвращеніи въ Россію, никогда не застаютъ его въ располѣхъ, а находятъ его также насторожѣ противъ грубыхъ инстинктовъ и увлеченія: онъ страстно бережетъ человѣческое, гуманное чувство свое, добытое съ такимъ трудомъ, даже передъ коварствомъ и низостью. Плебейская кровь, которая отчасти течетъ въ его жилахъ, помогаетъ его усиліямъ, но не создала ихъ, какъ намекаетъ авторъ, не выполнѣ основательно, по нашему мнѣнію: плебейская кровь также нуждается въ обузданіи ея духовнымъ началомъ, можетъ быть, даже болѣе, чѣмъ какая-либо другая. Энергическое управленіе своимъ внутреннимъ міромъ—вотъ гдѣ единственная доблесть Лаврецкаго, не имѣющаго иной доблести. Этимъ онъ отличается отъ всѣхъ литературныхъ типовъ 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего столѣтія, отъ Чацкихъ, Онѣгиныхъ и Печориныхъ. Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ свободно призираютъ всю окружающую ихъ современность, совсѣмъ и не подозревая, что презрѣніе надо бы начать съ самихъ себя, и что они составляютъ первое звено той самой современности, которую такъ охотно осмѣиваютъ. Они выдѣляютъ себя изъ толпы

безъ малѣйшаго права на то или по праву въ родѣ „вольности дворянской“, и ни разу не пришлось имъ подумать, что измѣненіе порядка вещей, который тяготитъ ихъ, должно не предшествовать измѣненію ихъ собственной жизни, а слѣдовать за нимъ. Лаврецкій менѣе заносчивъ и развязенъ, но онъ серіознѣе ихъ. Не нужно прибавлять, кажется, что мы отдаемъ ему преимущество только за обиліе содержанія, произведенное самимъ ходомъ жизни и времени, а не за выразительность и яркость образа, чѣмъ первые, конечно, далеко превосходятъ его.

П. Анненковъ.

* * *

*) Лаврецкій, съ дѣтства муштруемый и выдерживаемый подъ началомъ, и впослѣдствіи постоянно попадаетъ въ положеніе зависимое—и въ дружбѣ съ Михалевичемъ разыгрываетъ вполнѣ страдательную, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, роль. Даже и влюбившійся-то не самъ, а скорѣе влюбленный своимъ энтузіастомъ товарищемъ, онъ попадаетъ затѣмъ подъ фѣрулу жены, для нея оставляетъ университетъ, наконецъ, за нею плетется туда-же, куда каждый годно плетутся лишніе русскіе люди—на заграничныя воды. Въ одномъ только отношеніи спаслось въ немъ столь свойственное человѣческой природѣ чувство независимости: онъ не захотѣлъ служить, не захотѣлъ чиновнически дѣлать видъ, что дѣлаетъ дѣло, а предпочелъ откровенно и просто ничего не дѣлать. Но „жизнь становилась подчасъ тяжела у него на плечахъ,—тяжела, потому что пуста“. Вотъ въ этомъ опять онъ значительно отличался отъ Рудина, который, за множествомъ словъ, принимаемыхъ за дѣла, такъ долго не признавалъ своей пустоты. Въ этомъ случаѣ Лаврецкому, можетъ быть, помогла та честная плебейская его кровь, на которую указывалъ ему Михалевичъ, т. е., помогло, надо полагать, участіе, которое онъ, ради ма-

*) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева“. „Вѣсѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

тери, долженъ былъ съ дѣтства питать къ народу съ трудовой его долей, участіе, невольно растворявшееся тѣмъ уваженіемъ къ труду, которое должно было его заставлять краснѣть при мысли о собственномъ ничегъ недѣланіи. Съ другой уже чисто физической стороны, честная плебейская кровь сказалась у Лаврецкаго тою здоровой натурою, въ силу которой онъ ни мало не измѣнился, несмотря на невзгоды, чѣмъ, какъ извѣстно, просто оскорбилась нервная его родственница Марья Дмитриевна, привѣтствовавшая его, разѣхавшагося съ женой, словами: „Видно, тебѣ все, какъ съ гуся вода; иной бы съ горя зачахъ, а тебя еще разнесло“. Но Лаврецкаго постигаютъ новыя испытанія. Полюбивъ Лизу, онъ, прочитавъ въ газетахъ о смерти жены, начинаетъ считать возможнымъ соединить свою участь съ участью этой дѣвушки, но сперва встрѣчаетъ отпоръ въ ея собственной, болѣзненно-чуткой совѣсти, а потомъ попадаетъ въ положеніе, уже совершенно безвыходное, узнавъ, что слухъ о смерти жены былъ ложень. Но и въ этомъ безвыходномъ положеніи нравственною опорою служить ему—опять-таки мысль о плебейской его роднѣ. „Предъяви-же, говоритъ онъ самому себѣ, свои права на полное истинное счастье! Оглянись—кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ ѣдетъ на косьбу! Можетъ, онъ наслаждается своею судьбою?“ Или вспомните о томъ, какъ отправляется Лаврецкій туда, гдѣ находитъ укрѣпленіе Лиза—въ церковь, и какъ въ той-же церкви его поражаетъ крестьянинъ, молящійся съ невыразимымъ усердіемъ; припомните и вопросъ Лаврецкаго: что съ нимъ? и данный скороговоркою отвѣтъ, пугливо и сурово отшатнувшагося мужика: „сынъ померъ“, вслѣдъ-же за тѣмъ и попытку молиться самого Лаврецкаго. Во всемъ этомъ онъ, разумѣется, нисколько уже не походитъ на Рудина: Лаврецкій не только не рисуется своимъ горемъ, не только не убажастъ себя воображеніемъ, что я-де стоически твердъ, но, напротивъ, коритъ себя въ малодушіи. При этомъ онъ доходитъ даже до того, что, взглянувъ на портретъ свирѣпаго прадѣда своего Андрея, читаетъ въ его взглядѣ

какъ-бы презрѣніе къ хилому своему потомку. Но все таки, въ самыхъ этихъ укоризнахъ себѣ, въ самой этой готовности оглянуться вокругъ, на народъ, на самомъ дѣлѣ не оказывается какого-либо зародыша настоящей мужской силы, такой силы, которая бы сдѣлала его, наконецъ, человѣкомъ не слова, а дѣла. Въ сущности онъ и тутъ попадаетъ въ рудинство въ томъ смыслѣ, что только говоритъ, и, пожалуй, думаетъ о народѣ, но чтобъ отдѣлаться отъ жены, не задумывается снабжать ее трудовыми крестьянскими деньгами для веселаго проживанія въ Парижѣ. Точно такъ-же, совершенно порудински, избѣгая тяжелыхъ впечатлѣній и постоянныхъ, опредѣленныхъ (а не измышляемыхъ только) заботъ, онъ не рѣшается отнять у жены своей дочери, съ тѣмъ чтобы самому ее воспитать, а оставляетъ ее на жертву—подобной матери! Во многихъ отношеніяхъ, повидимому, вполне возрожденнымъ представляется намъ Лаврецкій въ эпилогѣ "... Но это возрожденіе, по мнѣнію г. Миллера, далеко не охватило собою всего существа Лаврецкаго: въ сущности, въ немъ уцѣлѣлъ еще „ветхій человѣкъ“. „Посреди многолюднаго Божьяго міра, продолжаетъ г. Миллеръ—онъ считаетъ себя одинокимъ; думаетъ только о догораніи жизни, большая часть которой осталась дѣйствительно вполне безполезной, такъ что слѣдовало бы навесгивать, а онъ уже усталъ, охладѣлъ къ труду, еще такъ недавно принявшійся за трудъ! Вотъ и опять тутъ сказалось барство со всѣмъ его сибаритствомъ и пустоцвѣтствомъ! Нѣтъ, Лаврецкій не есть еще настоящій человѣкъ дѣла и почвы; въ немъ нѣтъ еще настоящей силы“.

Выходка Лаврецкаго противъ канцелярски просвѣтительныхъ затѣй Паншина, состоящая въ отстаиваніи молодости и самостоятельности Россіи, дала поводъ, по словамъ г. Миллера, нѣкоторымъ критикамъ признавать въ Лаврецкомъ славянофила, „почувствовавшаго, какъ и многіе, на собственномъ примѣрѣ всю пагубу такъ называемой безпочвенности. Но не надо забывать, что выходка Лаврецкаго противъ Паншина вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ уничтожить его въ глазахъ Лизы, инстинктивно

сочувствующей всему народному. Въ сущности Лаврецкій довольно далекъ отъ того, чтобы сдѣлаться настоящимъ славянофиломъ; напротивъ, въ немъ до конца сохраняется отпечатокъ чего-то рудинскаго (хотя не надобно забывать, что есть и между такъ называемыми славянофилами своего рода Рудины: стоитъ только вспомнить въ „Запискахъ Охотника“ Любозвонова). Во всякомъ случаѣ, воспитаніе Лаврецкаго было, какъ онъ самъ отзывается, совершенно безпочвенно. Хотя и *плебей* по матери, онъ былъ искусственно высиженъ въ „дворянскомъ гнѣздѣ“.

О. Миллеръ.

* * *

*) Всматриваясь въ сущность Лаврецкаго, мы видимъ, что въ этомъ лицѣ Тургеневъ возвелъ въ положительный, въ героическій типъ тотъ элементъ, который онъ противопологалъ прежнимъ героямъ теоретическаго склада, прежнимъ оторваннымъ отъ родной почвы носителямъ чуждаго ей, наноснаго идеала. Лаврецкій—человѣкъ почвы, человѣкъ той простой русской дѣятельности, неудовлетворенность безхитростнымъ строемъ которой грызла безсознательно сердца „скитальцевъ“ въ родѣ Вязовнина, героя „Переписки“ и, наконецъ, Рудина, заставляла ихъ не только томиться жизнью и жаждою призрачной, теоретической дѣятельности, но даже гибнуть вдали отъ родины, порой совсѣмъ задаромъ, порой за чуждое дѣло. Лаврецкій вовсе не космополитическая, оторвавшаяся отъ почвы натура—это натура кряжевая, кровно русская натура, выросшая на родной почвѣ и при всей неправильности этого роста, совершившагося отчасти подъ искусственными, наносными вліяніями—таково, напримѣръ, вліяніе системы воспитанія, измышленной его отцомъ, мнимымъ поклонникомъ Руссо и Дидерота—воспринявшая въ себя всѣ существенные соки, всѣ черты національнаго характера, начиная отъ добродушнаго смиренія и застѣнчивости до жажды простой деревенской жизни

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

и земледѣльческаго труда, до жажды душевной прямоты и правды и ненависти ко всякому ложному блеску, ко всякой внутренней извращенности чувства, какъ бы она ни была прельстительна и красива по внѣшности. Въ мастерскихъ, можно сказать, почти геніальныхъ страницахъ, изображающихъ предковъ Лаврецкаго, картины и впечатлѣнія его родной деревни, его сельскаго уединенія—въ этихъ страницахъ Тургеневъ нарисовалъ съ удивительною сжатостію и вмѣстѣ съ тѣмъ съ удивительною полнотою всѣ тѣ почвенныя, кровныя вліянія, подъ которыми сложился коренной, русскій типъ его героя. Вопреки своей обычной задачѣ разобличать, развѣнчивать типъ—задачѣ, отъ которой онъ не уклонялся и въ послѣдовавшихъ за „Дворянскимъ гнѣздомъ“ художественныхъ работахъ, въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, въ „Нови“—вопреки его постоянному стремленію къ отрицательному анализу надъ героическими лицами его произведеній, Тургеневъ отдаетъ Лаврецкому все свое сочувствіе и притомъ сочувствіе самое искреннее, самое теплое. Онъ кровно связываетъ Лаврецкаго со всѣми существенными преданіями и лучшими качествами его среды и выставляетъ въ немъ именно того „сельскаго джентельмена“, которымъ, по выраженію одного англійскаго критика, нашъ писатель являлся всегда самъ. Дѣйствительно, Лаврецкій отъ головы до ногъ „сельскій джентельменъ“, какъ шекспировскій Лиръ „король отъ головы до ногъ“, и притомъ джентельменъ вполнѣ русскій, что, говоря по правдѣ, и до сихъ поръ еще составляетъ порядочную рѣдкость, а въ доброе старое время составляло рѣдкость еще большую. Въ числѣ особенно замѣчательныхъ качествъ этого „сельскаго джентельмена“, этого птенца „дворянскаго гнѣзда“, слѣдуетъ отмѣтить одно, дѣлающее его прямою противоположностью всѣмъ главнымъ героямъ тургеневскихъ произведеній—это славянофильство Лаврецкаго. Правда, его славянофильство очень мягко и чуждо узкихъ сектаторскихъ воззрѣній, которыми грѣшили славянофилы эпохи Лаврецкаго; но во всякомъ случаѣ оно оттѣнено Тургеневымъ очень ясно и съ явнымъ сочувствіемъ. И Тургеневъ не

только отгѣнили эту черту въ своемъ героѣ, но даже для приданія большаго значенія его славянофильству нарисовалъ въ противоположность ему Паншина, въ которомъ, по собственному признанію, онъ выставилъ „всѣ комическія и пошлыя стороны западничества“. Конечно, онъ сдѣлалъ это для того, чтобы принизить въ лицѣ этого лакея поверхностнаго европейничанья (подобныхъ которому впрочемъ, къ слову сказать, можно найти и до сихъ поръ на Руси великое множество) искусственный, наносный, отрицательный типъ передъ положительнымъ, кровнымъ русскимъ типомъ.

В. Буренинъ.

*
* * *

*) Уже въ романѣ „Рудинъ“ мы видѣли, что поэтъ, развѣнчивая своего героя „западника“, съ особенной любовью останавливался на второстепенномъ лицѣ произведенія—Лежневъ; можно было догадываться, что типъ, представителемъ котораго былъ Лежневъ, явится на первомъ планѣ въ новомъ созданіи Тургенева; такъ и случилось.

Герой „Дворянскаго гнѣзда“—Лаврецкій—очень сложный характеръ, сложный и многосторонній; но творецъ его назвалъ его „славянофиломъ“. И въ самомъ дѣлѣ, преобладающія воззрѣнія и симпатіи въ немъ—славянофильскія, и самъ онъ—человѣкъ почвы, чловѣкъ народа, съ душой простой, спокойной и уравновѣшенной.

Онъ является передъ нами въ романѣ послѣ сильнаго нравственнаго потрясенія, послѣ разрыва съ женою. Этотъ разрывъ былъ тяжелъ для него, и Лаврецкій страдалъ глубоко и искренно; но онъ

„не походилъ на жертву рока (говоритъ поэтъ). Отъ его краснощекаго, чисто-русскаго лица, съ большимъ бѣлымъ лбомъ, немного толстымъ носомъ и широкими правильными губами, такъ и вѣяло степнымъ здоровьемъ, крѣпкой долговѣчной силой. Сложенъ онъ былъ на славу,—и бѣлокурые волосы вились на его головѣ, какъ у юноши. Въ однихъ только его глазахъ, голубыхъ, навыватъ и

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

нѣсколько неподвижныхъ, замѣчалась—не то задумчивость, не то усталость, и голосъ его звучалъ какъ-то слишкомъ ровно“.

Но онъ вовсе не походилъ на разочарованнаго:

„Развѣ разочарованные такіе бываютъ? (возражалъ онъ самъ Михалевичу въ спорѣ съ нимъ). Тѣ всѣ бываютъ блѣдные и больные,—а, хочешь, я тебя одной рукой подниму?“

Искусственно отторгнутый отъ родины, скитаясь съ женой за-границей, онъ инстинктивно стремился домой, на родную почву. Въ Парижѣ, занимаясь переводомъ ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ и посѣщая лекціи въ Sorbonne и Collège de France, онъ все думалъ:

„Я не теряю времени... все это полезно; но къ будущей зимѣ надобно непременно вернуться въ Россію и приняться за дѣло“.

По нѣкоторой косности и лѣни своей славянской натуры, Богъ знаетъ когда привелъ-бы онъ въ исполненіе свое желаніе вернуться, если-бы не подтолкнули его на это обстоятельства. Душевно измученный и разбитый, бѣжалъ онъ домой,—и родная глушь, спокойное теченіе жизни родной деревни оказались цѣлительными для его больного сердца.— „Вотъ когда я на днѣ рѣки“ (думалъ Лаврецкій, сидя подъ окномъ въ маленькомъ домикѣ своего Васильевского):

„И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь... кто входитъ въ ея кругъ—покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!..

„На женскую любовь ушли мои лучшіе годы (продолжаетъ думать Лаврецкій): пусть же вытрезвить меня здѣсь скука, пусть успокоить меня, подготовить къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло... Тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, онѣ знаютъ, куда и зачѣмъ онѣ плывутъ. Въ то самое время, въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ, и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни, скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ какъ весенній снѣгъ,—

и странное дѣло! никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“.

Живя долго передъ тѣмъ вулканической и нравственно-мутной, увлекавшей его чуждой жизнью, Лаврецкій отрезвѣлъ духомъ въ родной деревнѣ, очнулся и пришелъ къ самосознанію, къ пониманію окружающаго, къ пониманію родины (всегда, конечно, таившемуся, хотя безсознательно, въ его душѣ).

Такимъ и является онъ передъ нами въ блестящемъ спорѣ своемъ съ Паншинымъ.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Съ удивительнымъ художественнымъ проникновеніемъ ввелъ Тургеневъ одну черту въ исторію юности Лаврецкаго. Онъ, физически сильный, здоровый, застѣнчивый какъ мальчикъ въ свои двадцать три года, съ жаждой знанія, съ душой, открытою для просвѣщенія, поступаетъ въ университетъ.

„Смѣшно было въ его года надѣть студенческій мундиръ, но онъ не боялся насмѣшекъ. Онъ поступилъ на физико-математическое отдѣленіе. Здоровый, краснощекій, уже съ заросшею бородою, молчаливый, онъ производилъ странное впечатлѣніе на своихъ товарищей; они не подозрѣвали того, что въ этомъ суровомъ мужѣ, аккуратно пріѣзжавшемъ на лекціи въ широкихъ деревенскихъ саняхъ парой, таится чуть не ребенокъ. Онъ имъ казался какимъ-то мудренымъ педантомъ; они въ немъ не нуждались и не искали въ немъ; онъ избѣгалъ ихъ.“

Такимъ образомъ Лаврецкій совершенно избѣгъ вліянія „кружковъ“, сформировавшихъ Рудина и Гамлета Щигровскаго уѣзда. Его душа осталась свободною, въ ней не было возбуждено ни тщеславіе ни сантиментальность, и вліянія той эпохи коснулись его не въ своемъ извращенномъ, разслабленномъ и опошленномъ выраженіи,—не въ

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Критическій этюдъ. М. 1894 г.

кружкахъ, а непосредственно: съ каедры, быть-можетъ, изъ устъ Грановскаго, съ театральныхъ подмостокъ во вдохновенной игрѣ Мочалова. И въ Москвѣ и за границей, гдѣ онъ продолжалъ учиться, Лаврецкій остался самимъ собою со своимъ здравымъ умомъ, со своимъ крѣпкимъ чувствомъ. Онъ не сновалъ бы передъ Рудинимъ и предъ тѣми вѣяніями, которыя въ немъ отразились. Онъ пожалѣлъ бы его, но не приклонился бы предъ нимъ, какъ преклоняется Лежневъ. Онъ и учился просто, безъ задней мысли: не для того, чтобы научиться любить родину. Онъ и безъ того ее любилъ, и для него каждый клочекъ родной земли былъ дороже всѣхъ „святыхъ чудесъ“ Европы.

Самъ Тургеневъ въ своихъ *Литературныхъ Воспоминаніяхъ* называетъ Лаврецкаго славянофиломъ. Но какой же онъ славянофилъ? Онъ не славянофилъ и не западникъ, онъ просто русскій человѣкъ, который даже не понимаетъ, о чемъ тутъ думать и разсуждать.

Въ извѣстномъ спорѣ съ Паншинымъ, гдѣ Лаврецкій и является, по мнѣнію Тургенева, славянофиломъ — „Лиза вся была на сторонѣ Лаврецкаго“. „А между тѣмъ ей и въ голову не приходило, что она патріотка“, читаемъ въ романѣ, — „но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безо всякаго барскаго снисхожденія“.

Лаврецкому точно также и въ голову не приходило, что онъ патріотъ или славянофилъ, и онъ оборвалъ Паншина потому, что, какъ и Лизу, „самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника его отталкивалъ“, а „его презрѣніе къ Россіи оскорбляло“.

Лаврецкій несчастливъ, но потому что несчастливо сложилась его жизнь, и онъ съ мужественнымъ стоицизмомъ несетъ свое несчастіе. Онъ не можетъ быть несчастливъ такъ, какъ Рудинъ; онъ любитъ Россію здоровою любовью и вѣритъ въ нее. Онъ хорошо перенесъ прививку европейскаго просвѣщенія и вышелъ изъ соприкосновенія съ

этимъ просвѣщеніемъ самимъ собою, но уже съ сознательною любовью къ родинѣ своей и къ народу своему. Правда живая вѣра народная не наполняла его душу, какъ наполняетъ душу Лизы, но, какъ мы видѣли, его невѣріе, или то, что онъ считаетъ имъ, есть плодъ душевной усталости, а не нравственнаго распадѣнія. „Лиза втайнѣ надѣялась привести его къ Богу“, пишетъ Тургеневъ—и, конечно, привела бы. Да мы и видимъ въ концѣ романа, какимъ высокимъ смиреніемъ проникнуты мысли и чувство Лаврецкаго—тѣмъ смиреніемъ, которое дается только вѣрой. Всѣмъ памяты эти послѣднія страницы романа—памятенъ образъ Лаврецкаго, состарѣвшагося, сломленнаго непосильнымъ горемъ, тягостью воспоминаній о погибшихъ надеждахъ, несбывшихся мечтахъ, но смиреннаго и спокойнаго въ своемъ высокомъ смиреніи. Смиреніе передъ жизнью, предъ ея таинственными силами хотѣлъ показать Тургеневъ въ Лаврецкомъ... но что же такое это смиреніе предъ жизнью какъ не смиреніе „въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога“, какъ говоритъ Лаврецкій?

Лаврецкій не герой, конечно. Онъ не подвижникъ въ высокомъ, въ героическомъ смыслѣ этого слова, хотя вся его жизнь есть незримый и тяжелый подвигъ,—но онъ изъ тѣхъ, къмъ держится Русская зѣмля. А она держится смиренными и терпѣливыми, спокойными своею вѣрой въ Россію и въ народъ свой.

Лѣтописецъ смутнаго времени, описавъ полное разореніе земли Русской, которой, казалось, уже не было спасенія, говоритъ: „И встали тогда *послѣдніе люди*“. Эти *послѣдніе люди* спасли Русь. Кто же они, эти „послѣдніе люди“? Да именно эти, терпѣливые и спокойные, выступающіе только въ послѣднюю минуту, когда, кажется, все уже гибнетъ, и нигдѣ нѣтъ вѣры въ спасеніе—встающіе, чтобы пожертвовать собою и спасти...

Къ такимъ людямъ принадлежитъ Лаврецкій.

Говорятъ, что лица Лизы и Лаврецкаго вышли у Тургенева блѣдными и неясными, что тутъ нѣтъ красокъ, что это только туманные абрисы. Все это правда. Но тѣмъ не

менѣе, если есть въ русской художественной литературѣ намекъ на то, что принято называть положительнымъ типомъ, то этотъ намекъ мы имѣемъ въ Лаврецкомъ.

Таковъ Лаврецкій и таково его значеніе...

Лаврецкій, возвратившійся на родину, съ усталою душой, съ незажившею, сочащеюся сердечною раной, тотчасъ же чувствуетъ успокоивающее дѣйствіе того полузабытаго вѣянія, которое снова коснулось души его. Онъ не поселился въ Лаврикахъ, гдѣ все ему напоминало и ослабившую его страсть къ женѣ, и годы дѣтства и юности, омраченные безпокойною суетливостію его отца, ломавшего мальчика на свой образецъ, и страданія матери, отъ которой онъ былъ отъединенъ и оторванъ, и слишкомъ скоро сбывшееся зловѣщее пророчество тетки Глафиры о томъ, что не свить ему гнѣзда нигдѣ. Онъ поселился въ Васильевскомъ, въ маленькой своей деревушкѣ, и его тотчасъ же охватило вѣяніе преданія, вѣяніе глубокой тишины. Эта тишина вошла въ его душу и подѣйствовала на него какъ благотворный, тихій сонъ на больного, только что перенесшаго кризисъ. „Вотъ когда я на днѣ“, думалъ Лаврецкій,—и чувствовалъ, что здѣсь, на днѣ русской жизни, гдѣ совершается живая и таинственная работа нашихъ духовныхъ силъ, прибыло силы и бодрости въ душѣ его.

„И всегда, во всякое время неспѣшна здѣсь жизнь“, думалъ Лаврецкій.—„Кто входитъ въ ея кругъ, покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой тразы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидываютъ свои кудри; а тамъ дальше, въ поляхъ, волнуется рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ. „На женскую любовь ушли мои лучшіе годы“, продолжаетъ думать Лаврецкій,—„пусть же вытрезвить меня здѣсь скука,

пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобъ и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“. И онъ снова принимался прислушиваться къ тишинѣ, ничего не ожидая и въ то же время какъ будто безпрестанно ожидая чего-то: тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, они знаютъ, куда и зачѣмъ они плывутъ. Въ то самое время въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ,—и, странное дѣло!—никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“.

И такъ Лаврецкій погрузился „на дно рѣки“, душа его уже готова раскрыться, чтобы воспринять въ себя эту тишину, полную затаенной мысли, свѣтящуюся изнутри постояннымъ, ровнымъ свѣтомъ. Лаврецкій задумался надъ этою жизнью, и въ немъ, какъ бы сама эта жизнь задумалась надъ собой. Онъ какъ бы внялъ голосу поэта:

..... жить въ самомъ себѣ умѣй,
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные ослѣпять лучи:
Внимай ихъ пѣнью—и молчи...

И, прислушиваясь къ этой тишинѣ въ своей душѣ и къ тишинѣ жизни, текущей неслышно, „какъ вода по болотнымъ травамъ“, онъ чувствовалъ, что здѣсь скрыто что-то бесконечно значительное, таинственное и глубокое. Нужно было, чтобъ это бесконечно значительное прикоснулось къ его душѣ реально, какъ прикасался Христосъ Своими божественными перстами къ страждущимъ, и исцѣлило ее, эту уставшую, смятую ложью жизни душу.

И предъ нимъ предстало это бесконечно значительное, вышедшее изъ нѣдръ той же жизни, хранящей въ задум-

чивой своей тишинѣ свою тайну: предъ нимъ предстала Лиза. Она прикоснулась къ его душѣ—и душа эта расширилась, ожила, затрепетала новою, невѣдомою для нея жизнію... Въ Лизѣ, которую онъ полюбилъ, для него слилось все: и любовь къ родинѣ, и религиозное чувство, жившее въ его душѣ—слилось все—и все нашло свое объясненіе; онъ почувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ, въ чемъ заключена тайна той тишины, къ которой онъ такъ чутко прислушивался. Любовь Лаврецкаго къ Лизѣ не отдѣляется въ душѣ его какъ особое чувство, она есть какъ бы высшее выраженіе всей его душевной жизни. Вотъ почему его любовь такъ чиста и свята, такъ цѣломудренна, вотъ почему эта любовь дала ему силу выдержать безконечно тяжкое испытаніе, вотъ почему эта любовь—сильнѣе смерти, сильнѣе вѣчной разлуки... Лиза умерла для Лаврецкаго, но любовь къ ней одухотворила его жизнь, подняла его на высоту того смиренія, въ ореолѣ котораго онъ въ послѣдній разъ проходитъ передъ нами въ концѣ романа.

Послѣ посѣщенія Калитиными Васильевскаго, еще не имѣя оказавшагося потомъ ложнымъ извѣстія о смерти жены, не питая никакихъ надеждъ, но уже чувствуя себя во власти Лизы, вспоминая ея образъ, ея слова, Лаврецкій произноситъ стихъ, недавно слышанный имъ отъ энтузіаста Михалевича.

Все время, возвращаясь верхомъ домой, онъ думалъ о Лизѣ, думалъ, самъ того не замѣчая, какою-то внутреннею думой.

„Онъ долго ѣхалъ“, читаемъ мы въ романѣ,—„понутивъ голову, потомъ выпрямился, медленно произнесъ:

„И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигалъ“...

Да, онъ сжегъ все, чему поклонялся. Образъ Лизы вошелъ въ его душу—и въ этой душѣ сгорѣло все нечистое, страстное, безпокойно-сомнѣвающееся, все, что осталось отъ чада жизни, прожитой имъ.

Михалевицъ въ своихъ стихахъ воспользовался только

однимъ старымъ изреченіемъ. Когда святой Ремигій обратился Клодвигу въ христіанство, и обращенный спросилъ его, что же онъ долженъ теперь дѣлать, такъ какъ онъ христіанинъ, святой Ремигій произнесъ свой знаменитый отвѣтъ: „Сожги все, чему ты до сихъ поръ поклонялся, поклонись всему, что ты сжигалъ“.

Лиза своимъ взглядомъ, своими простыми и глубокими словами о жизни и смерти, всѣмъ обаяніемъ своей дѣвственной чистоты, не нарушенной никакимъ страстнымъ помысломъ, безъ словъ сказала Лаврецкому тѣ же властные слова: „Сожги все, чему ты до сихъ поръ поклонялся, поклонись всему, что ты сжигалъ“. И онъ сжегъ все, чему поклонялся: оно само собой сгорѣло въ душѣ его; и онъ поклонился тому, что сжигалъ на огнѣ плотской страсти— поклонился душевной красотѣ русской женщины и Тому, Кто создалъ эту красоту: „давно онъ не былъ въ церкви, давно не обращался къ Богу“... но теперь, когда онъ вмѣстѣ съ Лизой вошелъ въ храмъ,—„чудное умиленіе наполнило его душу... всѣмъ помысломъ своимъ онъ повергнулся ницъ и приникъ смиренно къ землѣ“.

И уже долго спустя, утративъ Лизу навсегда, готовый встрѣтить „одинокую старость“, онъ душой своей склоняется предъ нимъ же, предъ лицомъ „ожидающаго Бога“...

Лиза прикоснулась къ его душѣ, и онъ отошелъ отъ нея —исцѣленный.

Ю. Николаевъ.

„Л и з а“.

*) Лиза—въ высшей степени симпатическій и замѣчательный типъ современной образованной дѣвушки (провинціальной барышни). Она привлекательна, какъ и Татьяна Пушкина, но превосходитъ Татьяну своимъ цѣльнымъ нравственнымъ характеромъ. Лиза не могла получить отъ своей пустой сантиментальной матери никакого солиднаго вос-

**) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.*

питанія. Училась она усидчиво: „безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ авторъ. Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, Лиза выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни. Разказы няни о мученикахъ и сподвижникахъ глубоко запали ей въ душу и воспитали въ ней глубокое религіозное чувство. Оно-то потомъ проникло собою всѣ ея стремленія и поступки... Въ своей замкнутой семьѣ Лиза, конечно, не могла получить ни малѣйшаго знанія людей. Ея нравственное чувство служило ей единственнымъ руководителемъ и оберегателемъ во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми. Благодаря этому чувству, она не терялась въ пустотѣ окружающей жизни. Среди этой пустоты она какъ будто предчувствовала, или угадывала иной, лучшій порядокъ вещей, и удивительно строго и твердо прошла своимъ путемъ между людьми, чужими ей и по мыслямъ и по развитію. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ жизни Лиза руководствуется все тѣмъ же нравственнымъ чувствомъ: оно подсказываетъ ей, что дѣлать. Когда Варвара Павловна разрушила ея надежду на счастье, Лиза говоритъ Лаврецкому: „теперь вы видите сами, что счастье, зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“. Тутъ, правда, не видно рѣшимости сопротивляться враждебнымъ вліяніямъ и стараться побѣдить ихъ; но недостатокъ энергіи вознаграждается глубокимъ самоотверженіемъ Лизы. Она любитъ, страдаетъ, переноситъ нравственныя потрясенія съ истиннымъ героизмомъ, не входитъ ни въ какія сдѣлки съ совѣстью. Ея счастье разбито, и вотъ какъ она говоритъ о томъ своей бабушкѣ: „все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю: и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отменить надо.“ И затѣмъ Лиза разрываетъ связь съ жизнью дѣйствительной и запирается—какъ она говоритъ—навѣки. Такая рѣшимость со стороны молодой дѣвушки есть своего рода героизмъ. Нравственный образъ Лизы Тургенева

далеко оставляетъ за собою личность Пушкинской Татьяны, а ихъ раздѣляютъ всего 20—30 лѣтъ. Свѣтлою является Лиза въ началѣ, свѣтлою проходитъ передъ зрителемъ, черезъ всѣ степени развивающейся драмы, и такую-же свѣтлою скрывается въ монастырскую келью.

II. *Евстафіевъ.*

* * *

*) *Лиза* замѣчательна и какъ женщина вообще и какъ русская женщина въ особенности. Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, она выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни *Агафьи Васильевны*, женщины вполне русской. *Агафья* невольно напоминаетъ *Акима*, героя *Постоялаго Двора*: и въ ней и въ немъ развито до экзальтаціи религіозное чувство. Въ характерѣ русскаго человѣка глубоко замѣчательна черта *самонаказанія*, этого добровольнаго мученичества, на которое осуждаетъ себя человѣкъ за немногія радости, испытанныя имъ въ жизни, между тѣмъ какъ онъ, по природѣ своей, имѣетъ всѣ права на счастье. На это покаяніе осуждаютъ себя всегда люди даровитые, претерпѣвшіе всевозможный гнетъ судьбы, а чаще отдѣльныхъ лицъ; вмѣсто того, чтобы ожесточаться, разражаться воплями и проклятіями, они распинаютъ самихъ себя. Повторяемъ, глубоко знаменательна эта печальная черта въ характерѣ простого русскаго человѣка! Къ числу такихъ людей принадлежала и *Агафья*: за свою красоту, за свою добрую, любящую натуру, за свои права на счастье она *наказалась*: результатомъ этого самонаказанія было добровольно-принятый крестъ терпѣнія безконечнаго, самоуничтоженія добровольнаго. Подобная личность, немногими чертами, но мастерски очерченная поэтомъ, не могла не произвести, и дѣйствительно произвела на Лизу громадное вліяніе: религіозная восторженность, сдержанность натуры, какая-то величавая важность сообщились Лизѣ вслѣдствіе вліянія няни. „Въ каждомъ ея движеніи“,

*) М. Де-Пуле. „Русское Слово“ 1859 г., № 11.

говорить авторъ, „высказывалась невольная, нѣсколько не-ловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокой блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности (конечно, до знакомства съ Лаврецкимъ), она любила одного Бога, восторженно, робко, нѣжно“.

Намъ обыкновенно нравится этотъ величавый, святой образъ женщины, типъ совершенно новый въ нашей литературѣ, художественно созданный поэтомъ. Лиза не безсердечное, сухое существо: припомните ея наивное, но горячее желаніе примирить Лаврецкаго съ женою, припомните ея борьбу самой съ собою, когда она убѣдилась въ любви къ нему и ея объясненіе съ Марею Тимофеевной по поводу все той же любви. Лиза не резонерка, а живая, русская женщина. Передъ нею какъ-то мелькаетъ разбитый образъ Лаврецкаго. Она настоящій герой драмы: на нее, слабое созданіе, сильнѣе падаютъ удары рока, на ея плечахъ легла вся тяжесть трагедіи. Невозможно видѣть безъ сердечнаго трепета, какъ выносить эту тяжесть бѣдная дѣвушка!

Послѣ совершившейся катастрофы, послѣ тѣхъ нравственныхъ потрясеній, которыя переноситъ Лиза съ истиннымъ героизмомъ, съ болью и воплями, хотя подавленными, но ужасными, ей остается одно — умереть; но это мало!... Ей, какъ русской женщинѣ, какъ воспитанницѣ Агафьи, нужно еще наказать себя, — и она *наказуется*: „Все кончено“, говоритъ она Марѣ Тимофеевнѣ, „кончена и моя жизнь съ вами. Такой урокъ недаромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастіе ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ паненъка богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отмотить, отмотить надо“.

Ни одинъ женскій образъ не рисовалъ Тургеневъ съ такою любовію, какъ образъ Лизы, и не одинъ не выходилъ изъ-подъ пера его такимъ оконченнымъ.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Лиза Калитина не представляетъ собою какого нибудь опредѣленнаго момента въ развитіи русской мысли; она принадлежала и принадлежитъ всему періоду застоя и даже — чему мы видимъ примѣръ въ католическихъ странахъ — можетъ идти далѣе его. Она, какъ и Татьяна, жертва ложнаго пониманія долга и ложныхъ, мистически-религіозныхъ понятій. Собственно русская особенность этихъ воззрѣній состоитъ въ томъ, что они не привиты непосредственно клерикальнымъ воспитаніемъ, а изъ древне-духовнаго аскетическаго ученія проникли въ народъ, смѣшались съ его идолопоклонствомъ, и, еще искаженнымъ невѣжествомъ, уже стали съ низу заражать малопросвѣщенные классы и даже были приняты нѣкоторыми болѣе честными и добросердечными, чѣмъ проникательными людьми, за существенную, да еще и уважаемую принадлежность русской народности! Мудрено-ли послѣ этого, что полуобразованная молоденькая дѣвушка становится жертвою этихъ воззрѣній, когда такой начитанный и многовидѣвшій господинъ, какъ славянофилъ Лаврецкій, не возмущался ими и не сумѣлъ, пользуясь своимъ вліяніемъ на дѣвушку, показать ей всю ложь ея взглядовъ!

М. Авдѣевъ.

* * *

**) Лиза считаетъ покорность высшею добродѣтелью женщины; она молча покоряется, насильно закрываетъ себѣ глаза, чтобы не видать несовершенствъ окружающей ея сферы. Помириться съ этою сферою она не можетъ: въ ней слишкомъ много неиспорченнаго чувства истины; обсу-

**) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.*

***) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Также сочиненія Писарева.*

Живать или даже замѣчать ея недостатки она не смѣетъ, потому что считаетъ это предосудительною и безнравственною дерзостью. Потому, стоя неизмѣримо выше окружающихъ ее людей, она старается себя увѣрить, что она такая-же, какъ и они, даже, пожалуй, хуже,—что отвращеніе, которое возбуждаетъ въ ней зло или неправда, есть тяжкій грѣхъ, недостатокъ смиренія. При случаѣ, гдѣ только есть какая-нибудь возможность, она даже готова увѣрить себя, что чужой проступокъ или чужое горе произошли по ея винѣ, что она слезами и молитвою должна загладить свое невольное, никогда даже не совершенное, но тѣмъ неменѣе тяготящее надъ нею преступленіе; ея чуткая совѣсть находится въ постоянной тревогѣ; не выработавъ въ себѣ критической способности, боясь представить себя своему природному здравому смыслу, избѣгая обсуживанія, которое она смѣшиваетъ съ осужденіемъ, Лиза во всякомъ движеніи своемъ, во всякой невинной радости предчувствуетъ грѣхъ, страдаетъ за чужіе проступки, упрекаетъ себя въ томъ, что замѣтила ихъ, и часто готова принести свои законныя потребности и влеченія въ жертву чужой прихоти. Она вѣчная и добровольная мученица. Личность ея получаетъ отъ этого особенную трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дѣло серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатіи, которую внушаетъ съ перваго взгляда привлекательный образъ молодой дѣвушки, то нельзя не замѣтить, что Лиза идетъ по ложной и опасной дорогѣ. Истиннымъ можно назвать только такое развитіе, которое ведетъ насъ къ нравственному совершенству и заставляетъ насъ находить счастье въ самомъ процессѣ самосовершенствованія. Такое развитіе должно пробуждать въ насъ потребности и въ то же время должно давать намъ средства удовлетворять этимъ потребностямъ, должно вести эти стремленія къ опредѣленной и разумной цѣли. Но ежели мы будемъ требовать отъ себя невозможнаго, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственнаго закона, мы постоянно недовольны собою, ежели мы постоянно будемъ тратить свою энергію на со-

вершеніе ненужныхъ подвиговъ смиренія и самоотверженія, тогда мы только измучимъ и истомимъ себя, отравимъ себѣ самыя благородныя и невинныя радости жизни, выпустимъ изъ рукъ собственное разумное счастье, и омрачимъ спокойствіе и счастье близкихъ людей своими добровольными и бесполезными страданіями. Ежели самодовольствіе ведетъ къ умственной неподвижности, то и постоянное, фанатическое стремленіе къ недостижимому идеалу, стоящему выше человѣчества, ведетъ къ ослабленію нравственныхъ силъ, какъ неумѣренныя гимнастическія упражненія изнуряютъ физическія силы. Истинное развитіе должно вести къ равновѣсію всѣхъ силъ человѣческой души. У Лизы равновѣсіе было нарушено. Воображеніе, настроенное съ дѣтства разсказами набожной, но неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской, впечатлительной природѣ, получили полное преобладаніе надъ критическою способностію ума. Считаая грѣхомъ анализировать другихъ, Лиза не умѣетъ анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь рѣшиться, она рѣдко размышляетъ: въ подобномъ случаѣ она или слѣдуетъ первому движенію чувства, довѣряется врожденному чутью истины, или спрашиваетъ совѣта у другихъ и подчиняется чужой волѣ, или ссылагся на авторитетъ нравственнаго закона, который всегда понимаетъ буквально и всегда слишкомъ строго, съ фанатическимъ увлеченіемъ. Словомъ, она не только не достигаетъ умственной самостоятельности, но даже не стремится къ ней, и забиваетъ въ себѣ всякую живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнѣніе. Въ практической жизни она отступаетъ отъ всякой борьбы; она никогда не сдѣлаетъ дурного поступка, потому что ее охраняютъ и врожденное нравственное чувство и глубокая религіозность; она не уступить въ этомъ отношеніи вліянію окружающихъ, но когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сдѣлаетъ ни шагу, не скажетъ ни слова и съ покорностію приметъ случайное несчастіе, какъ что-то должное, *какъ справедливое наказаніе, поразившее ее за какую-то*

воображаемую вину. При такомъ взглядѣ на вещи, у Лизы нѣтъ орудія противъ несчастія. Считая его за наказаніе, она несетъ его съ покорнымъ благоговѣніемъ, не старается утѣшиться, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ страхнуть съ себя его гнетущее вліяніе: такія попытки показались-бы ей дерзкимъ возмущеніемъ. „Мы были наказаны“, говоритъ она Лаврецкому. За что? на это она сама не отвѣчаетъ; но, между тѣмъ, убѣжденіе такъ сильно, что Лиза признаетъ себя виновною и посвящаетъ всю остальную жизнь на оплакиваніе и отмаливаніе этой невѣдомой для нея и несуществующей вины. Восторженное воображеніе ея, потрясенное несчастнымъ происшествіемъ, разыгрывается и заводитъ ее такъ далеко, показываетъ ей такой мистическій смыслъ, такую таинственную связь во всѣхъ совершившихся съ нею событіяхъ, что она, въ порывѣ какого-то самозабвенія, сама называетъ себя мученицею, жертвою, обреченною страдать и молиться за чужіе грѣхи... И такъ кончается жизнь молодого, свѣжаго существа, въ которомъ была способность любить, наслаждаться счастьемъ, доставлять счастье другому и приносить разумную пользу въ семейномъ кругу... и какую значительную пользу можетъ принести въ наше время женщина, какое согрѣвающее, благотворное вліяніе можетъ имѣть ея мягкая, граціозная личность, ежели она захочетъ употребить свои силы на разумное дѣло, на безкорыстное служеніе добру. Отчего-же уклонилась отъ этого Лиза? Отчего такъ печально и безслѣдно кончилась ся жизнь? Что сломало ее? Обстоятельства, скажутъ нѣкоторые. Нѣтъ, не обстоятельства, отвѣтимъ мы, а фанатическое увлеченіе неправильно понятымъ нравственнымъ долгомъ. Не утѣшенія искала она въ монастырѣ, не забвенія ждала она отъ уединенной и созерцательной жизни: нѣтъ! она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить послѣдній, высшій подвигъ самоотверженія. Насколько она достигла своей цѣли, пусть судятъ другіе. Говоря о воспитаніи Лизы, г. Тургеневъ даетъ намъ ключъ къ объясненію *какъ нравственной чистоты ея убѣжденій, не по-*

тускнѣвшихъ отъ вреднаго вліянія неразвитаго общества, такъ и излишней строгости и односторонности ея взгляда на жизнь.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Очевидно, эта покорность и неспособность Лизы вести хоть какую-нибудь борьбу съ несчастіями въ жизни объясняется прежде всего всей исторіей русской женщины, ея заботостію и приниженностію. Лиза — это та-же затворница, живущая въ терему, съ тѣми-же народными взглядами и понятіями на жизнь, которыя занесены чрезъ дѣвичью въ дѣтскую и съ увлеченіемъ переданы ей тайной воспитательницей, няней Агаѣей. Лиза благочестива, Лиза религіозна, но есть-ли въ ея благочестіи хоть порывы, хоть капли той *живой, дѣйственной нравственности*, къ которой призываетъ насъ христіанство? Лиза, какъ и многія другія героини Тургенева, страдаетъ самымъ узкимъ себялюбіемъ, доходящимъ до того, что для нея любовь — источникъ всего, и внѣшняго и внутренняго благополучія. Съ нею, этою любовью, она возится какъ сумасшедшая, и отъ нея погибаетъ, забывая, что здоровая, нормальная любовь женщины есть спокойное, тихое чувство, не исключющее изъ круга обязанностей женщины заботъ о развитіи своего ума, о подготовкѣ себя къ труду: придется-ли прилагать этотъ навыкъ къ труду въ семейной жизни или внѣ оной—это все равно. Только такое воспитаніе и направленіе женщины обезпечиваетъ ея будущность, подготавливаетъ ее къ разнымъ случайностямъ въ жизни, дѣлаетъ ее побѣдительницей въ борьбѣ съ ними и доставляетъ счастье.

Н. Невзоровъ.

* * *

*) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы и воспитательный элементъ въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“.

*) Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта, г. Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболаѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ-статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-либо другое чувство. Намъ кажется, что виѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни: вотъ первые проблески любви и счастья, падающіе на ея сердце не живительною росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностію, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ, и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота, высокія предчувствія истины и блага: все погнбло въ цвѣтѣ, застигнутое неожиданнымъ морозомъ среди весны, и притомъ той чудной весны, какая возстаетъ всегда подъ перомъ г. Тур-

*) П. Анпенковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анпенкова. Спб. 1879 г.

генева. Inde... отсюда слезы! Но если бы судить о лицѣ этомъ только по выраженію горя и жалобъ, возбужденныхъ имъ въ читателяхъ, то пришлось бы отнести его къ числу тѣхъ слабыхъ, хотя и интересныхъ организмовъ, которые страдаютъ потому, что неспособны къ здоровому человѣческому существованію. Кто изъ поклонниковъ Лизаветы Михайловны замѣтилъ, что въ нѣжную, граціозную и обаятельную форму ея облеклась такая строгая идея, какая часто бываетъ не подъ силу и болѣе развитымъ и болѣе крѣпкимъ мышцамъ? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать слезу у самаго хладнокровнаго читателя, это правда, но одною слезой и сожалѣніемъ она не можетъ довольствоваться: она имѣетъ право на нѣчто большее, нежели слеза и сожалѣніе, чѣмъ, какъ извѣстно, исполнѣ оцѣниваются и достаточно вознаграждаются многія героини трогательныхъ романсовъ, испытавшія горе и несчастія.

А затѣмъ еще въ общемъ хорѣ поклонниковъ нашей повѣсти сильную долю голосовъ образуетъ новая и особенная раса „искателей идеаловъ“. Удивительно иногда становится, когда подумаешь, къ какому употребленію и къ какому злоупотребленію способны бываютъ *слова*! Чего не вводится иногда подъ покрывку слова, весьма опредѣленнаго сначала, но затѣмъ потерявшаго, отъ общаго употребленія, какъ старая монета, первоначальный штемпель и надпись свою? Чего не стараются тогда схоронить въ его нѣдрахъ, и подчасъ какимъ страннымъ требованіямъ и цѣлямъ принуждено оно бываетъ служить и отвѣчать? Идеаломъ, на языкѣ эстетики, означается всякій образъ, соединяющій въ себѣ всю ту сумму нравственныхъ и поэтическихъ чертъ, какая ему свойственна по природѣ его. Это очень просто и, пожалуй, можетъ быть выражено еще въ другой формулѣ, именно: всякій нравственный и поэтический образъ, вѣрный дѣйствительности и самому себѣ, есть идеалъ. На основаніи этого опредѣленія, и комическое лицо, подъ перомъ художника-писателя, можетъ *оказаться идеаломъ*, такъ же точно, какъ, на основаніи того

же опредѣленія, самая благонамѣренная фигура, снабженная многими добродѣтелями и прекрасными мнѣніями, но безъ жизненной и поэтической правды, не въ состояніи будетъ добиться до желаемого повышенія въ идеаль. Съ этою азбукой эстетики благоразумное меньшинство новѣйшихъ искателей идеаловъ, пожалуй, и согласится отвлеченно, но вотъ гдѣ вся партія цѣликомъ расходится съ эстетикой. Настоящій идеаль можетъ иногда казаться осужденіемъ и отрицаніемъ того низшаго порядка вещей, гдѣ онъ явился и призванъ дѣйствовать, а у ложныхъ идеалистовъ онъ обязанъ узаконять его и мирить съ нимъ. На языкѣ новѣйшихъ искателей идеаловъ, всякая попытка облагородить будничныя, такъ сказать, подробности жизни, пошлый ходъ ея, грубыя и закоренѣлыя ея привычки, называются стремленіемъ къ идеализаціи, и чѣмъ труднѣе задача сообщить пошлomu какое-либо значеніе и достоинство, тѣмъ выше цѣнятъ они усилія писателя и тѣмъ сильнѣе приходятъ отъ него въ восторгъ. Съ ужасомъ и отвращеніемъ бѣгутъ они, въ ремеслѣ, отъ замазки первоначальнаго матеріала красками и лакомъ, какая почасту дѣлается для прикрытія его трещинъ и пороковъ; замазка и лакъ, наоборотъ, составляютъ для нихъ желанную цѣль и послѣднее слово въ искусствѣ. Они отличаются отъ всѣхъ другихъ искателей тѣмъ, что непричастны ихъ волненіямъ, а, напротивъ, любятъ покой, умственную и физическую нѣгу: идеаль для нихъ почти то же, что праздникъ для школьника, освобождающій его отъ всѣхъ обязанностей и отъ всякой заботы. Они бы желали праздника на круглый годъ, и, если можно, навсегда. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ умѣ ихъ таится невысказанное желаніе, чтобъ идеалы служили щегольскими ширмами для прикрытія непріятныхъ житейскихъ случаевъ, требующихъ скорой и дѣятельной помощи, — для устраненія отъ глазъ явленій и событій, волнующихъ общественную совѣсть и нарушающихъ безмятежное состояніе души, которое имъ такъ дорого. Они даже судятъ объ относительномъ достоинствѣ идеаловъ по матеріальному употребленію, какое можно сдѣлать изъ того или другого.

Сквозь запутанныя опредѣленія идеалъ ихъ часто выглядываетъ не въ образѣ эстетическаго понятія, а въ формѣ полезной мѣры благочинія. Завидѣвъ въ лицѣ Лизаветы Михайловны безропотную покорность судьбѣ, убѣдясь, что впечатлѣніе, производимое ею, тихо и отрадно, и особенно не найдя въ ней никакого протеста противъ людей и обстоятельствъ, отъ которыхъ она, безъ жалобы, скрывается въ монастырской кельѣ, вся эта раса новѣйшихъ искателей идеаловъ въ одинъ голосъ причислила ее къ сонму своихъ любимцевъ и увѣнчала автора за созданіе такого безкорыстнаго, скромнаго и похвальнаго существа.

Но такъ ли все это?

Есть афоризмъ, не подлежащій сомнѣнію: „поэты рождаются“, но можно прибавить къ нему, что и высоко-нравственные характеры тоже рождаются“, по крайней мѣрѣ, возникновеніе ихъ часто бываетъ необъяснимо. Они образуются иногда безъ помощи воспитанія, примѣра, правилъ и указаній, сохраняемыхъ семействомъ отъ старины или отъ господствующаго ученія; они могутъ явиться (и часто являются) въ години полной духовной тьмы, въ нѣдрахъ самаго испорченнаго круга, при совершенномъ отсутствіи моральныхъ убѣжденій, еще недобытыхъ или уже потерянныхъ окружающимъ ихъ міромъ. Этими характерами доказывается только высокое достоинство человѣческой природы, способной всегда творить нравственные типы, ее выражающіе. Иногда нѣтъ никакой возможности указать, гдѣ началась работа ихъ благодатной мысли, когда и чѣмъ пробудилась ихъ душа, по какому поводу они разошлись съ общими понятіями и создали себѣ особенную мѣрку для опредѣленія добра и правды. Достоверно одно, что иногда достаточно самой скудной духовной пищи для развитія ихъ моральнаго существованія въ изумительномъ блескѣ; какая-нибудь книжка, какое-нибудь ничтожное событіе въ домашнемъ быту дѣлаются неожиданно крѣпкими основами ихъ будущаго развитія. Для Лизаветы Михайловны достаточно было няни Агаѣи съ ея пламеннымъ *разказомъ* о мученикахъ и подвижникахъ, съ ея народно-мистическимъ настроеніемъ, чтобъ обратить молодой умъ

совсѣмъ въ противоположную сторону, именно къ строгому пониманію моральной идеи, заключающейся въ религіи. Часто даже глубоко-нравственные характеры обходятся и безъ этихъ толчковъ, безъ этой подмоги на первыхъ шагахъ своихъ въ жизни. Учителями ихъ дѣлаются просто всѣ безобразныя, темныя, неразумныя и тупыя проявленія страстей и обычаевъ окружающаго ихъ быта: они учатся правдѣ въ виду господствующаго произвола, сознанію обязанностей своихъ—на духовномъ и тѣлесномъ растлѣніи близкихъ людей, порядку, справедливости и происхожденію на общей распущенности и на дикихъ порывахъ животнаго существованія. Можно сказать даже, что чѣмъ заразительнѣе всѣ примѣры, окружающіе ихъ, тѣмъ они тверже укореняются и смѣлѣе идутъ въ правомъ пути. Кто первый указалъ его, кому обязаны они первымъ извѣстіемъ о его существованіи, неизвѣстно. Можетъ-быть, это неизбѣжное дѣйствіе приспѣвшаго времени обновленія для всѣхъ, или, можетъ-быть, это—дѣйствіе точно такой же благодати, какъ, напримѣръ, поэтический даръ: какъ бы то ни было, Лизавета Михайловна принадлежитъ къ семьѣ этихъ самородныхъ нравственныхъ характеровъ.

Великое достоинство этого лица состоитъ особенно въ томъ, что авторъ не лишилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ существенныхъ правъ и качествъ молодости. Этому и надо было ожидать. Не такой писатель г. Тургеневъ, чтобы могъ остановиться на отвлеченномъ образѣ, заняться сухимъ или одностороннимъ педантическимъ идеаломъ. Лизавета Михайловна является намъ въ полной красѣ дѣвичьяго развитія; дѣло только въ томъ, что фантазія дѣвушки, работа ея головы и ея сердца, самая игра жизненныхъ силъ, все уже окрашено врожденнымъ нравственнымъ чувствомъ, отъ котораго она ни убѣжать ни освободиться не можетъ, которое составляетъ ея величіе и ея кару посреди людей. Да и проявляется оно особеннымъ, весьма тонкимъ образомъ. Ни разу не встрѣтишь у нея рѣзкаго слова, крикливаго осужденія или враждебнаго поступка противъ опредѣленій и понятій большинства (а, вѣдь, подобные грубые порывы

теплится въ безсвязныхъ словахъ Лизаветы Михайловны, когда она вызываетъ Лаврецкаго на примиреніе съ женой фразами: „Надо будетъ покориться... Я не умѣю говорить, но если мы не будемъ покоряться“... и проч. Слѣдуетъ замѣтить вообще, что Лиза никогда не выражается у автора полною и опредѣленною мыслью, но вся состоитъ только изъ пробужденій, предчувствій и намековъ, и это по причинамъ, о которыхъ скажемъ послѣ. Мысль ея остается на разборъ и догадку читателя, и мы съ своей стороны разбираемъ ее такъ: въ большей части семейныхъ бурь и катастрофъ люди столько же наказываются неизмѣнными опредѣленіями закона, установленія, сколько и тайною моралью, которая неизмѣнно присутствуетъ въ самой жизни. Это сбылось именно на Лаврецкомъ. Чего искалъ онъ въ женѣ своей? Онъ плѣнился, рассказываетъ намъ авторъ, красотой ея формъ, роскошными линиями тѣла, свободой и граціей ея движеній, наконецъ умомъ, способнымъ чувствовать и понимать разнообразныя эстетическія наслажденія. Самою обаятельною чертой въ ея характерѣ была именно эта склонность искать эстетическія наслажденія всюду вокругъ себя, въ обстановкѣ жизни и въ обязанностяхъ, налагаемыхъ ею. Въ эпоху молодости Лаврецкаго, лицо, отличное подобными стремленіями, приобрѣтало общее уваженіе и подчасъ общее удивленіе, какъ за особенный даръ, ниспосланный ему небомъ. Чувство изящнаго, а иногда просто навыкъ въ щегольствѣ и нѣкоторые признаки *вкуса*, при внѣшнихъ преимуществахъ, ставили лицо или избранницу на недосягаемый пьедесталъ въ общественномъ мнѣніи. Говорить тутъ о необходимости какихъ-либо жизненныхъ правилъ и основаній считалось пошлостью, педантизмомъ, „нестерпимою рефлексіей“; пониманіе красоты и эстетическихъ приличій казалось символомъ пониманія всего остального на свѣтѣ. Но чувство изящнаго, особенно у поверхностныхъ, неглубокихъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежитъ большая часть нашихъ любителей и любительницъ изящнаго, служить только чѣмъ-то въ родѣ краси-

ваго, кокетливаго мостика, сокращающаго и облегчающаго имъ дорогу къ страстямъ и чисто-животнымъ упражненіямъ. Надо, впрочемъ, сказать, что Варвара Павловна щедро заплатила мужу за выборъ его. „Не даромъ, говоритъ авторъ, вѣяло прелестью отъ всего существа его молодой жены; не даромъ сулила она чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій: она сдержала больше, чѣмъ сулила“. Оставалось удержать Варвару Павловну при себѣ навсегда, не удержать ее иначе нельзя было, какъ исчерпавъ до послѣдняго оболъ все то добро, которое она принесла съ собою въ домъ, именно красоту и способность наслаждаться; съ послѣднимъ оболомъ она уже становилась безпомощною нищей и ничѣмъ не могла замѣнить потерю своихъ. Но Лаврецкій поступаетъ не такъ. Покуда роскошная, парижская жизнь гремитъ въ собственномъ его салонѣ, подъ руководствомъ жены, онъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и страстно, лихорадочно, неусыпно *учится*. Чему именно, зачѣмъ, для какой опредѣленной цѣли — это ему самому неизвѣстно, это только характеристическая черта его эпохи. Безвыходное занятіе, судорожная любознательность, бросающаяся во всѣ стороны, плаваніе въ морѣ науки безъ компаса, безъ пристани въ виду, — вотъ его дѣло, какъ и любимое дѣло всего поколѣнія современниковъ его. А между тѣмъ Варвара Павловна не ждетъ. Въ характерѣ ея нѣтъ нисколько нравственной бережливости: она скучаетъ богатствомъ красоты, когда нѣтъ возможности тратить его. Не видя близкой руки помогающей, она весело проживаетъ достояніе свое, она принимается бросать его по сторонамъ. Варвара Павловна дѣлаетъ только то, на чтó призвана, для чего воспитывалась дома и въ казенномъ заведеніи, чего ожидала отъ своей красоты и своего ума. Лаврецкій вывелъ ее на сцену дѣйствія, открылъ ей арену для подвиговъ и за то своевременно получилъ узаконенную плату. Чего онъ могъ ожидать болѣе, выбирая такую жену, чтó онъ сдѣлалъ для укрѣпленія связи своей, кромѣ предоставленія женѣ полной свободы *располагать собою*? Онъ виноватъ передъ ней и передъ

тельно, какъ Татьяна, выразила себя Лиза въ романѣ г. Тургенева (да и кому же у насъ подъ силу мѣряться съ Пушкинымъ въ выраженіи), но она сдѣлала огромное пріобрѣтеніе съ тѣхъ поръ, какъ показалась впервые Татьяной. Лиза имѣетъ строгія нравственныя основанія; сдѣлки съ совѣстію ей противны; благоговѣніе къ свѣту и къ условнымъ приличіямъ замѣнилось неудержимымъ стремленіемъ направить все свое домашнее, обиденное существованіе въ смыслѣ одной религіозно-моральной идеи, врожденной ей или пріобрѣтенной ею. Это уже своего рода героизмъ, и понятія о необходимости возводить до героизма благородныя побужденія и такъ-называемыя добродѣтели не существовало еще во времена Пушкина, да и теперь оно далеко не привычный и далеко не вполне знакомый намъ гость.

Какъ бы то ни было, но покамѣстъ Лизавета Михайловна и Лаврецкій покорно выжидаютъ приговора жизни и обстоятельствъ, не дѣлая ничего, чтобъ обратить его въ свою пользу, смягчить или избѣжать его. Это круглые сироты извѣстнаго общественнаго быта, и выраженіе тихой, грустной поэзіи, свойственной людямъ, обреченнымъ на жертву съ самаго рожденія, принадлежитъ имъ по праву. Поэзія этого рода создала вокругъ нихъ ровный, свѣтозарный ореолъ, и отъ нихъ разошлась по всему роману. Въ ея кроткой, задумчивой атмосферѣ движется даже большая часть второстепенныхъ лицъ, какъ, на примѣръ, дворовый человѣкъ, старикъ Антонъ, дошедшій, путемъ привычки, до благоговѣнія къ удручавшей его власти, приживалка въ комнатѣ Марѣы Тимофеевны, музыкантъ Леммъ съ его постоянною благодарностію и вспышками вдохновенія (лицо, впрочемъ, сильно отзывающееся воспоминаніями стараго романтизма) и проч. Всего болѣе присутствуетъ она въ описаніяхъ, и кто ѣхалъ вмѣстѣ съ Лаврецкимъ въ деревню, послѣ его долгой заграничной жизни, кто жилъ съ нимъ въ глуши его помѣстья передъ степями, получившими для него внятную и знаменательную рѣчь, ходилъ съ нимъ по опустѣлому, тяжелому дому умершей тетки,

Смотрѣлъ свободно и смѣло разросшійся садъ помѣстья, при тишинѣ едва движущейся и какъ бы замершей жизни, кто, наконецъ, провожалъ съ нимъ верхомъ Лизу, посѣтившую его уединенное жилище, и возвращался съ нимъ опять домой, при лунной ночи, переживая въ себѣ сладкое чувство новой привязанности, имъ овладѣвшее, — тотъ уже не позабудетъ этихъ впечатлѣній. Томительно и отрадно ложатся они на сердце читателя, наполняя его въ одно и то же время грустью и наслажденіемъ. Есть мгновеніе въ романѣ, когда поэзія, окружающая образы Лизы и Лаврецакаго, достигаетъ своего апогея. Неожиданно разнесшійся слухъ о смерти жены Лаврецакаго открываетъ вдругъ и впервые нашей четѣ надежду на счастье. Съ обычною боязнію, съ непобѣдимымъ сомнѣніемъ въ возможности его, съ тайными упреками совѣсти, поминутно возникающими въ душѣ ея отъ каждаго самаго незначительнаго обстоятельства, начинаетъ Лиза привыкать къ этой мысли. Она еще вся поглощена борьбой между надеждой и опасеніями, не понимаетъ сама, что съ ней дѣлается, когда разъ застаетъ ее чудная лѣтняя ночь, Лаврецкій, прокравшійся въ садъ, неожиданное свиданіе съ нимъ и первый, единственный поцѣлуй любви, сорванный съ ея устъ въ тишинѣ ночи, который отдается въ другомъ мѣстѣ города, у бѣднаго Лемма, вѣроятно, предчувствовавшего свиданіе, юною и вдохновенною сонатой. Надо читать это описаніе въ романѣ, чтобъ испытать его обаятельное и потрясающее дѣйствіе; но поцѣлуй, какъ и всѣ надежды четы, длится одно мгновеніе. Онъ какъ будто вызвалъ изъ гроба львицу Варвару Павловну, потому что вслѣдъ за тѣмъ она является въ маленький городской домикъ Лаврецакаго и умоляетъ его о пощадѣ и прощеніи, въ которыхъ, видимо, нисколько не нуждается. Тогда всѣ расчеты съ жизнію кончаются для Лизы, она рѣшительно порываетъ связь съ людьми, обществомъ, и убѣгаетъ въ монастырь; Лаврецкій тоже пропадаетъ, Богъ вѣсть куда, на долгое время. Чистая поэзія самоотреченія, омывшая ихъ съ самаго появленія на сцену до того, что лишила воли, простора и движенія, теперь

Елены, фигурирующей въ „Наканунѣ“, которою такъ восхищалась наша либеральная критика, восторгались наши „гражданки“ эпохи пушлага прогресса на Руси, восторгаются еще и теперь эпигоны и—простите курьезное слово—эпигонши утрированныхъ стремленій къ женскимъ „вопросамъ“, „правамъ“ и ко всей трескотнѣ и болтовнѣ, преимущественно плѣняющей въ этомъ дѣлѣ упомянутыхъ эпигоншъ. А между тѣмъ несмотря на то, что Елена была превознесена выше облакъ ходячихъ, какъ лучшій, какъ необыкновенно-художественный типъ русской „женщины-гражданки“, въ замыслѣ и компановкѣ этого типа, если говорить всю правду, Тургеневъ позаимствовался изъ такихъ книжныхъ источниковъ, какъ романы Жоржъ-Сандъ, гораздо больше, чѣмъ изъ наблюденій надъ дѣйствительными русскими женщинами. Несомнѣнно также, что въ нервической, слегка надорванной Еленѣ довольно искусственной „приподнятости“, что ея quasi-гражданскій обликъ, если всмотрѣться въ него поглубже, представляется немного „сдѣланнымъ“, хотя, конечно, сдѣланнымъ съ большимъ искусствомъ и съ искреннимъ увлеченіемъ. Въ созданіи кроткаго и твердаго, нѣсколько даже фанатическаго образа Лизы незамѣтно ни малѣйшаго слѣда подобной дѣланности: этотъ образъ взятъ изъ жизни цѣликомъ, онъ выработанъ творчествомъ художника безъ всякихъ искусственно-книжныхъ подогрѣваній этого творчества тенденціей, безъ всякихъ придуманныхъ декораціонныхъ освѣщеній въ угоду вѣяніямъ времени. И отъ того-то этотъ женскій образъ такъ привлекателенъ въ своей неприкрашенной простотѣ и правдѣ, отъ того-то онъ такъ не понравился нашей либеральной критикѣ: въ немъ, въ этомъ образѣ чистой, доброй и твердой русской дѣвушки нѣтъ никакого заемнаго блеска и треска, онъ не отличается внѣшней эффектною — ну, стало быть, онъ намъ пришелся не ко двору, ибо, вѣдь, мы только падки на эффектную ложь, только ее и разумѣемъ сразу, только ей и сочувствуемъ съ увлеченіемъ и азартомъ. Либеральная критика не могла простить Тургеневу и его Лизѣ ту религіозную закваску,

которая органически связана съ натурой этой героини и которой источникъ указанъ художникомъ въ раннемъ вліяніи на душу Лизы народнаго элемента, въ лицѣ няни Агаѣи Власѣевны. Помилуйте, какъ смѣлъ Тургеневъ простираť свою художническую добросовѣстность, свое стремленіе къ правдивому воспроизведенію дѣйствительности до забвенія либеральной тенденціи, которая не можетъ терпѣть никакого „мистицизма“, хотя бы этотъ мистицизмъ истекалъ изъ кровнаго сродства съ народнымъ міросозерцаніемъ; какъ смѣлъ Тургеневъ развязать трагическую коллизію романа удаленіемъ героини въ монастырь; какъ смѣлъ онъ выразить чуть ли не сочувствіе такой развязкѣ и признать ея неизбежность! Вотъ если бы онъ заставилъ Лизу броситься на шею женатому Лаврецкому, заставилъ и его и ее, вопреки всякимъ „мистическимъ“ и общественнымъ предразсудкамъ, выразить такимъ „честнымъ“ и смѣлымъ поступкомъ „честный“ протестъ „свободной любви“—вотъ тогда бы это была настоящая героиня, тогда бы это былъ настоящій герой, тогда бы ихъ поощрила и либеральная критика и всѣ либеральные „граждане“ и „гражданки“. Но мистическое заблужденіе Лизы и робкая уступка этому заблужденію со стороны Лаврецкаго были поставлены въ укоръ и имъ и ихъ творцу: съ этого времени къ Тургеневу началось охлажденіе либеральной „партіи“. Романомъ „Наканунѣ“ онъ поправилъ дѣло и воротилъ къ себѣ симпатію этой партіи, но не надолго, однакоже: „Отцы и дѣти“ окончательно возбудили партію уже до ненависти, до грубаго негодованія пресловутой „критики“ г. Антоновича, въ которой Тургеневъ былъ сравненъ съ Аскоченскимъ—этимъ чудовищемъ обскурантизма въ глазахъ тогдашнихъ либераловъ...

В. Буренинъ.

* * *

*) Чистый и строгій образъ Лизы есть высшій образъ тургеневскаго творчества, внушающій намъ невольное бла-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

оговѣнное уваженіе. Какъ Наталья романа „Рудинъ“, эта русская дѣвушка поражаетъ насъ своей душевной дѣлностью, нераздвоенностью; но та была еще дитя, только начинающее жить; эта — вполнѣ сложившійся опредѣлившійся характеръ. Лиза знаетъ, какъ ей думать, чувствовать и поступать во всѣхъ обстоятельствахъ жизни; въ ней нѣтъ ни сомнѣній ни колебаній: ей истина открыта. Простъ, повидимому, и несложенъ ея духовный міръ; но онъ глубокъ и всеобъемлющъ. — Замѣчательны при этомъ два обстоятельства: Тургеневъ далъ ей только 19 лѣтъ и не надѣлилъ ее дарованіями:

„Особенно блестящими способностями, большимъ умомъ ее Богъ не наградилъ; безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ онъ.

Инстинктъ генія руководилъ въ этомъ случаѣ поэтомъ: не тотъ человѣкъ Евангельской притчи вошелъ въ „радость Господа своего“, кому дано было 12 талантовъ, а тотъ, кто удвоилъ свой одинъ талантъ. Что же касается молодости, то часто правда и истина доступны дѣтямъ, а возрастая, человѣкъ иной разъ теряетъ ихъ, раздвигаясь и мельчая духомъ, утрачивая юношескую вѣру, молодой энтузіазмъ. Лиза сохранила ихъ неизмѣнными съ младенческихъ лѣтъ. Живя полною и цѣльною жизнью духа, она не знаетъ не только раздвоенія, но и эгоизма: ей некогда и не для чего заниматься собою и думать о своемъ личномъ счастьѣ.

Достоевскій въ своей рѣчи о Пушкинѣ сблизилъ Лизу съ Татьяной великаго поэта. Въ самомъ дѣлѣ, между этими лицами много общаго: та же полнота духовной жизни въ обѣихъ, то же отсутствіе односторонности. — Лиза напоминаетъ Татьяну и своимъ дѣтствомъ:

„Она... была серьезный ребенокъ“ (говоритъ Тургеневъ); глаза ея „свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что рѣдко въ дѣтихъ. Она въ куклы не любила играть, смѣялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣ-

ніемъ... Отца она боялась; чувство ея къ матери было неопредѣленно, — она не боялась ея и не ласкалась къ ней; впрочемъ, она и къ Агаѣѣ (ея няни и воспитательница) не ласкалась, хотя только ее одну и любила“.

Серьезность и глубина духовной жизни отличаютъ дѣтство обѣихъ — и Татьяны и Лизы. Но Лиза была счастливѣе Татьяны: та возростала подъ вліяніемъ одностороннихъ впечатлѣній, — сначала народнаго сказочнаго міра, потомъ романтической поэзіи Руссо и Байрона, потомъ отвлеченнаго мышленія, съ которымъ знакомилась по книгамъ Онѣгина и его отмѣткамъ на поляхъ этихъ книгъ, — и къ полному равновѣсію, къ гармоническому единству (такъ поражающему насъ въ ея „проповѣди“ Онѣгину) ея богатая душевная силы пришли слишкомъ поздно, тогда, когда она уже, сама не зная, какъ это случилось, закабалила себя бездушнымъ формамъ свѣтскаго міра. — Лизѣ то же единство, та же гармонія дались проще: съ ранняго дѣтства передъ нею открылась нетлѣнная красота религіознаго идеала. Ея воспитательницей была простая русская женщина — Агаѣя, много испытавшая въ жизни, можно сказать, извѣдавшая жизнь, и потомъ смирившаяся и отдавшая всю душу свою Богу. — Съ удивительной простотой и художественной силой повѣствуетъ намъ Тургеневъ, какъ возростала Лиза подъ руководствомъ этой Агаѣи.

„Бывало, Агаѣя, вся въ черномъ, съ темнымъ платкомъ на головѣ, съ похудѣвшимъ, какъ воскъ прозрачнымъ, но все еще прекраснымъ и выразительнымъ лицомъ, сидитъ прямо и вяжетъ чулокъ; у ногъ ея, на маленькомъ креслицѣ, сидитъ Лиза и тоже трудится надъ какой-нибудь работой или, важно поднявши свѣтлые глазки, слушаетъ, что рассказываетъ ей Агаѣя; а Агаѣя рассказываетъ ей не сказки: мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ рассказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду, — и царей не боялись, Христа исповѣдовали; какъ имъ птицы небесныя кормъ ихъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты выросали. „Желтофіюли?“ спросила однажды Лиза, которая очень любила цвѣты... Агаѣя говорила съ Лизой важно и смиренно, точно она сама.

чувствовала, что не ей бы произносить такія высокія и святыя слова. Лиза ее слушала -- и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполняя ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ; Агаѣя и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на зарѣ, торопливо ее одѣвала и уводила тайкомъ къ заутренѣ; Лиза шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша; холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку, — вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святаго потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа. Агаѣя никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чѣмъ недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчаніе съ быстрой прозорливостью ребенка“.

Отдавшись, такимъ образомъ, съ дѣтства всею душою Богу, Лиза не утратила своей самобытности, напротивъ — этимъ именно приобрѣла ее:

„у ней не было „своихъ словъ“, какъ она выразилась однажды, но были свои мысли, и шла она своей дорогой“, говоритъ поэтъ.

Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ нравственно, чѣмъ онъ чище сердцемъ и прозорливѣе умомъ, чѣмъ глубже его духовная жизнь, — тѣмъ онъ проще, тѣмъ ближе къ людямъ и тѣмъ доступнѣе всѣмъ чистымъ впечатлѣніямъ жизни, тѣмъ меньше представляется онъ необыкновеннымъ существомъ. Это самое мы и видимъ въ Лизѣ:

Такъ росла она (говоритъ поэтъ) — покойно, неторопливо, такъ достигла девятнадцати-лѣтняго возраста. Она была очень мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ; она любила всѣхъ и никого въ особенноти; она любила одного Бога, восторженно, робко, нѣжно... Такова была Лиза“.

И вотъ эта дѣвушка встрѣтилась съ Лаврецкимъ и полюбила его. Любовь ея, какъ и любовь Натальи къ Рудину;

какъ всякая возвышенная любовь, коренится не въ чисто личныхъ ощущеніяхъ, а на почвѣ общей жизни. Лизу и Лаврецаго сблизили — единство убѣжденій, сходство многихъ чувствъ и мыслей, сходство общаго строя духовной жизни. Особенно ясно открывается это передъ нами въ той сценѣ романа, гдѣ Лаврецкій спорить съ Паншинымъ; онъ и спорить, главнымъ образомъ, для Лизы, чувствуя внутреннюю потребность открыть ей свою душу, высказаться передъ нею.

„Лиза не вымолвила ни одного слова въ теченіе спора между Лаврецкимъ и Паншинымъ (разсказываетъ поэтъ), но внимательно слѣдила за нимъ, и вся была на сторонѣ Лаврецаго. Политика ее занимала очень мало; но самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника... ее отталкивалъ; его презрѣніе къ Россіи ее оскорбило. Лизѣ и въ голову не приходило, что она патриотка; но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія. Лаврецкій все это чувствовалъ: онъ бы не сталъ возражать одному Паншину; онъ говорилъ только для Лизы. Другъ другу они ничего не сказали, даже глаза ихъ рѣдко встрѣчались; но оба они поняли, что и любятъ и не любятъ одно и то-же“.

Въ эту минуту и опредѣлилось окончательно ихъ взаимное чувство, утвердилось въ ихъ сердцахъ:

„у каждого изъ нихъ сердце росло въ груди (говоритъ поэтъ), и ничего для нихъ не пропало: для нихъ пѣлъ соловей, и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканные и сномъ, и нѣгой лѣта, и тепломъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ — и радовался; но слово не выразить того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки: оно было тайной для нея самой; пусть же оно останется и для всѣхъ тайной“.

Послѣднія слова свидѣлствуютъ, съ какой глубокой и благоговѣйной любовью, съ какимъ уваженіемъ относятся Тургеневъ къ своей Лизѣ (Это напоминаетъ намъ отношенія Пушкина къ Татьянѣ). И вездѣ, всюду въ романѣ Тургеневъ сердцемъ своимъ симпатизируетъ Лизѣ болѣе, чѣмъ кому-либо. И въ разногласіяхъ Лизы съ

съ Лаврецькимъ онъ на ея сторонѣ (хоть, можетъ быть, и самъ это не вполне и не всегда сознаетъ).

Разногласія съ Лаврецькимъ... Да, при всемъ сходствѣ сочувствій и антипатій, между героемъ романа и Лизой есть два существенныхъ разногласія: во-первыхъ, въ религіозныхъ убѣжденіяхъ; во-вторыхъ, въ личныхъ отношеніяхъ того и другого къ чувству любви и, въ связи съ этимъ, къ своему „я“. Примириться съ этими разногласіями Лиза, душа прямая, искренняя и сильная, не хочетъ и не можетъ, — не по эгоизму (его нѣтъ въ ней), а по чувству правды; она или обратитъ Лаврецькаго къ Богу и истинѣ или разорветъ съ нимъ, и не колеблясь разобьетъ свое сердце.

Разница религіозныхъ убѣжденій особенно ясно выражается въ сценѣ посѣщенія Калитиными Лаврецькаго въ его Васильевскомъ. Лаврецькій бесѣдуетъ съ Лизой у пруда. „Помолились вы за меня?“ спрашиваетъ онъ.

— Да, я за васъ молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко объ этомъ.

Лаврецькій началъ увѣрять Лизу, что ему это и въ голову не приходило, что онъ глубоко уважаетъ всякія убѣжденія; потому что онъ пустился толковать о религіи, о ея значеніи въ исторіи человечества, о значеніи христіанства...

— Христіаниномъ нужно быть, заговорила не безъ усилія Лиза: не для того, чтобы познать небесное... тамъ.. земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть.

Лаврецькій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ.

— Какое это вы промолвили слово! сказалъ онъ.

— Это слово не мое, отвѣчала она.

— Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

— Не знаю... Я часто о ней думаю.

— Часто.

— Да.

— Этого не скажешь, глядя на васъ теперь: у васъ такое веселое, свѣтлое лицо, вы улыбаетесь...

— Да, мнѣ очень весело теперь, наивно возразила Лиза.

Какими ничтожными кажутся здѣсь высокопарныя разсужденія Лаврецькаго объ историческомъ, объ относительномъ значеніи религіи вообще и христіанства въ частно-

сти, безъ вѣры въ божественность ихъ, ничтожными сравнительно съ простой, до обыденности простой мыслью Лизы, что всякому человѣку надо умереть, что земная жизнь наша коротка и временна. Въ самомъ дѣлѣ, одно изъ двухъ: или нѣтъ Бога и жизни вѣчной—и тогда нечего утѣшать себя исторической значительностью идей и вѣрованій человѣческихъ, а надо придти къ отчаянью, либо къ легкомысленному наслажденію матеріальными благами дѣйствительности,—или есть безсмертіе души и Богъ есть—и тогда вѣра нужна именно потому, что „каждый человѣкъ долженъ умереть“, что онъ лишь гость въ земной жизни. Лиза вѣритъ, и (высшая нравственная доблесть!) не боится смерти. Вѣчная дума о кончинѣ не мѣшаетъ ей радоваться свѣтлымъ впечатлѣніямъ жизни, быть спокойной и веселой.

Лаврецкій быстро уступаетъ Лизѣ въ дѣлѣ вѣры—она приводитъ его къ Богу. Когда онъ узналъ о смерти жены и сообщилъ это извѣстіе Лизѣ, она потребовала, чтобы онъ пошелъ въ церковь: „мы вмѣстѣ помолимся (сказала она) за упокой ея души“. И Лаврецкій на другой день отправился къ обѣднѣ. Онъ увидѣлъ въ церкви Лизу.

„Онъ почувствовалъ, что она молилась и за него, — и чудное умиленіе наполнило его душу,“ — и онъ „всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и припалъ смиренно къ землѣ. Вспомнилось ему, какъ въ дѣтствѣ онъ всякій разъ въ церкви до тѣхъ поръ молился, пока не ощущалъ у себя на лбу какъ-бы чьего-то свѣжаго прикосновенія; это, думалъ онъ тогда, ангель-хранитель принимаетъ меня, кладетъ на меня печать избранія. Онъ взглянул на Лизу... „Ты меня сюда привела, подумалъ онъ: коснись же меня, коснись моей души“. Она все такъ-же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ попросилъ другой душѣ—покоя, своей прощенья“.

Надежды Лизы сбылись: Лаврецкій увѣровалъ, Лаврецкій обратился черезъ нее къ Богу. Правда, это было лишь на время, а потомъ онъ опять вернулся къ своему скептицизму. Но, однако, никакъ нельзя сказать, что молитва его была лишь умиленіемъ и непослѣдовательностью влюбленнаго, „богомольнымъ благоговѣніемъ передъ святыней красоты“. Нѣтъ, онъ молился какъ вѣрующій христіанинъ,

когда просилъ у Бога упокоенія душѣ жены, прощенія своей душѣ.

Гораздо труднѣй было другое дѣло: тяжелѣй было сломить его эгоизмъ.

„Счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ“, — сказала Лиза. Въ этихъ словахъ, тоже простыхъ, кроется тотъ глубокий смыслъ, что человѣкъ не долженъ думать о личномъ счастьѣ, — оно придетъ само, если нужно, а наша обязанность — думать и заботиться о томъ, что выше нашего эгоизма. Лиза вѣрна этой идеѣ въ своей любви къ Лаврецкому: въ то время, когда онъ наслаждается своимъ блаженствомъ, слушая романтическую музыку Лемма, она — молится. — Лаврецкій тоже, какъ Лиза, возвышенно смотритъ на любовь и бракъ: онъ правдиво и честно мечтаетъ, что, если бы она была его женою, она бы „воодушевила (его) на честный, строгій трудъ, и (они) пошли бы оба впередъ, къ прекрасной цѣли“. Но такая возвышенная мечта у Лаврецкаго отвлеченна: на самомъ дѣлѣ въ любви къ Лизѣ онъ ищетъ прежде всего личнаго счастья. Не станемъ подбирать доказательствъ, въ пользу этого соображенія, изъ событій романа (ихъ можно бы было найти довольно много); вспомнимъ только слова самого поэта объ этомъ въ эпилогѣ произведенія; Тургеневъ говоритъ про своего героя:

„совершился наконецъ (т. е. черезъ 8 лѣтъ послѣ того, какъ все кончено было въ его отношеніяхъ къ Лизѣ) переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца; онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своихъ корыстныхъ цѣляхъ“.

Ясно изъ этихъ словъ, что и здѣсь, и въ этой мысли Тургеневъ согласенъ съ Лизой.

Но чтò же дурного въ счастьѣ честно и искренно любящихъ другъ друга людей? Конечно, ничего. И Лиза счастлива любовью къ Лаврецкому. Но дурно то, когда человѣкъ весь сосредоточивается на мечтахъ объ этомъ счастьѣ, *забывая общее, забывая свой долгъ*: въ немъ развивается *тогда эгоизмъ, а эгоизмъ приводитъ злобу*. — Мы и видимъ

это въ Лаврецькомъ: параллельно съ любовью къ Лизѣ, въ душѣ его живетъ эгоистическая злоба на жену. Это мучить Лизу; она борется съ темнымъ началомъ въ его любви, она отчасти одолеваетъ это начало; но вполне побѣдить не можетъ, — и здѣсь обнаруживается несостоятельность Лаврецькаго, здѣсь развѣнчиваетъ его Тургеневъ.

Сближеніе Лизы съ Лаврецькимъ съ того и началось, что она указала ему неправду его злобы на жену; онъ-было отвѣтилъ рѣзкимъ возраженіемъ, самолюбиво увѣренный въ правотѣ своего чувства; но потомъ созналъ себя неправымъ, — взволнованный, подошелъ онъ къ Лизѣ, и „украдкой шепнулъ ей: „спасибо, вы добрая дѣвушка; я виновать...“ И ея блѣдное лицо заалѣлось веселой и стыдливой улыбкой“. Съ этой минуты и въ его сердце и въ сердце Лизы закралась искра взаимной любви.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Душевная красота дана была Лизѣ отъ природы, но именно вѣяніе одухотворенной тишины, подспудной жизни съ затаившимся въ ней преданіемъ, съ хранимымъ въ ней немеркнущимъ свѣтомъ — именно вѣяніе этой тишины охранило душевную красоту Лизы, осмыслило ее, дало ей форму.

„Наружный шумъ“ никогда не врывается въ тотъ міръ „таинственно волшебныхъ думъ“, который былъ въ душѣ Лизы, не мѣшалъ ей внимать себѣ, прислушиваться ко внутреннему голосу своей души, и она, сама того не зная, исполняла завѣтъ поэта:

Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими и молчи!

Она, въ тишинѣ, питалась этими ключами, просачивавшимися въ ея душу изъ окружавшаго ее міра замершаго преданія. Впечатлѣнія жизни она молча „слагала въ сердца своемъ“ — и все нарастало и нарастало ея душевное богатство.

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Москва. 1894 г.

Въ ея жизнь не врывались никакіе чуждые элементы, какъ въ жизнь Лаврецкаго, ее никто не ломалъ, какъ ломали Лаврецкаго, надъ ней никто не мудрилъ, какъ мудрили надъ нимъ. Правда, поверхность той жизни, изъ глубины которой питалась ея душа, была мертвенная и омертвѣвшая, — но эта мертвенная и омертвѣвшая среда мало вліяла на Лизу. Отецъ ея, практикъ и дѣлецъ, вѣчно погруженный въ свои расчеты, мало обращалъ на нее вниманія, мать — пустая эгоистка — всѣ заботы о ней ограничивала тѣмъ, что наряжала ее, какъ куклу, но не только не вмѣшивалась въ ея внутреннюю жизнь, а врядъ ли даже подозрѣвала, что у ребенка, потомъ у дѣвочки и у дѣвушки есть внутренняя жизнь — такъ мало этой внутренней жизни было у самой Марьи Дмитріевны. Гувернантка, учителя, — все это скользнуло мимо Лизы, не затрогивая ея души. Но съ самаго младенчества эту душу наполнило собою чувство религиозное. Няня ея Агаѣя, тетка Марѣя Тимоѣевна, всѣми корнями вросшіе въ почву, созданную преемственнымъ преданіемъ, дали ей первыя дѣтскія впечатлѣнія. А весь складъ натуры Лизы былъ таковъ, что впечатлѣнія глубоко западали въ ея душу и усваивались въ тайной, но непрерывной работѣ мысли. Глаза ея, еще ребенка, говоритъ Тургеневъ, „свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что рѣдко въ дѣтяхъ“. „Она задумывалась не часто“, читаемъ мы далѣе — „но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣніемъ“.

Немного рассказываетъ намъ Тургеневъ о внутренней жизни Лизы вообще и о внутренней ея жизни въ дѣтствѣ — въ особенности. Чутьемъ художника уловилъ онъ немногія черты ея души, но онъ такъ и остались для него неясными. Чутье же художника подсказало ему и ту осторожность, почти робость, съ которыми онъ рисуетъ ея образъ. Образъ этотъ сдѣланъ твердою, но уже слишкомъ осторожною рукой. Художникъ боится сгустить тѣнь, по-

ложить лишній штрихъ, провести еще линію; за краски онъ и вовсе не принимается. Онъ чувствуетъ, что его эскизъ не полонъ, недоконченъ, едва намѣченъ, но предпочитаетъ оставить его такъ, нежели испортить невѣрнымъ оттѣнкомъ, фальшиво наложенною краской. Онъ до того остороженъ, что первоначально даже вовсе не коснулся дѣтства Лизы, ея воспитанія. Въ первоначально написанномъ романѣ не было той главы, гдѣ говорится объ этомъ. Она написана и вставлена въ романъ по указанію П. В. Анненкова, которому Тургеневъ посылалъ для предварительнаго прочтенія всѣ свои произведенія, между прочимъ и *Дворянское инъздо*. Анненковъ, прочтя романъ въ рукописи, замѣтилъ, что необходимо прибавить къ нему исторію дѣтства и воспитанія Лизы, безъ чего она не будетъ понятна. Тургеневъ послушался совѣта и написалъ новую главу, которую вставилъ въ романъ. И дѣйствительно, тотчасъ же замѣтно, что эта глава (XXXV-я) искусственно вставлена въ рассказъ, неожиданно прерывая его теченіе. Но и въ этой главѣ не заключена исторія дѣтства и воспитанія Лизы: на это въ ней есть только намеки, все же дающіе намъ ключъ къ уразумѣнію Лизы и ея послѣдующей исторіи...

Самое воспитаніе Лиза, какъ народъ нашъ, получила въ церкви, въ храмѣ. Она полюбила храмъ, какъ любить его народъ нашъ, и тамъ для нея раскрылся глубокій смыслъ ея вѣры, и тамъ она нашла утвержденіе того, что жило въ душѣ ея. Она воспринимала въ свою душу ученіе вѣры не въ сухомъ изложеніи катихизиса или учебника, а въ живомъ дѣйствіи, въ живомъ откровеніи самой вѣры. Въ церковныхъ службахъ—и вся исторія христіанства и вся его догматика: исторія, раскрывающаяся въ дѣйствіи, во всемъ ея величавомъ трагизмѣ, — догматика, раскрывающаяся не въ сухихъ формулахъ, а въ святыхъ словахъ умиленной и скорбной молитвы, въ поэзіи церковныхъ пѣснопѣій, въ вѣчныхъ словахъ, произносимыхъ предъ самымъ престоломъ вѣчнаго Бога.

Въ храмѣ произносятся каждый разъ одни и тѣ же сло-

ва, но слова *вѣчныя*, и эти слова каждый разъ, какъ ихъ снова слышала Лиза, снова и съ новою силою входили въ ея душу: смыслъ ихъ все углублялся, значеніе ихъ все становилось понятнѣе. Въ храмѣ же она видѣла вокругъ себя этотъ смиренный, колѣнопреклоненный народъ, съ благоговѣніемъ прислушивающійся къ святымъ и вѣчнымъ словамъ,—она видѣла этихъ смиренныхъ людей, убогихъ, темныхъ, простыхъ, но готовыхъ во всякую минуту отдать жизнь свою за эти святыя и вѣчныя слова; въ храмѣ она жила одною жизнью съ этимъ народомъ, чувствовала однимъ чувствомъ съ нимъ... И *вѣчное*, одно вѣчное наполняло ея душу, укрѣплялось въ ней, отодвигая отъ нея все временное, все житейское...

Вотъ откуда ея слова, такъ поразившія Лаврецькаго. Когда онъ началъ говорить ей о религіи, о ея значеніи въ исторіи, о значеніи христіанства, Лиза сразу поняла смыслъ этихъ философскихъ разсужденій, поняла и то, что не въ нихъ сущность дѣла.

„Христіаниномъ пужно быть, заговорила не безъ нѣкотораго усилія Лиза:— не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“.

„Лаврецькій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ“.

„Какое это вы промолвили слово, сказалъ онъ“.

„Это слово не мое, отвѣчала она“.

Да, это слово не ея, это то *вѣчное* слово, которое вошло въ ея душу въ храмѣ и укрѣпилось въ ней.

Это вѣчное, и только оно, которое въ ея душѣ господствуетъ надо всѣмъ, надъ всѣми ея чувствами и помыслами—это вѣчное дало силу ей, хрупкой и слабой дѣвужкѣ, перенести съ мужественною твердостью тяжкое испытаніе, постигшее ее, дало ей силу добровольно и сознательно возложить на себя крестъ и понести его. Она нестерпимо страдаетъ, конечно, но она не подчиняется страданію, а сама принимаетъ его, сознательно и осмысленно, и вотъ почему ея страданіе восходитъ на высоту подвига.

Ея душа, постигнутая несчастіемъ, истерзанная нестерпимымъ страданіемъ, не впадаетъ въ отчаяніе и уныніе, а напротивъ, расширяется, возвышается и обнаруживаетъ то высокое чувство, которое таилось въ глубинѣ, не высказанное, но всегда сознаваемое. Уже рѣшившись идти въ монастырь, она говоритъ теткѣ:

„Счастіе ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастіе, сердце у меня все щемило. Я знаю все: и свои грѣхи и чужіе, и какъ *папенька богатство нажилъ*, я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо“.

И она ушла въ монастырь. Она знаетъ, что дѣлаетъ и зачѣмъ дѣлаетъ. Не разбитая жизнь, не разбитая надежда на счастіе гонить ее туда, не для того чтобъ укрыться отъ вѣтра жизни, какъ хотѣлъ укрыться отъ него Гамлетъ—въ могилѣ, идетъ она въ монастырь;—нѣтъ, она идетъ туда, совершая сознательный подвигъ, она идетъ туда молиться за міръ. за грѣхи отца своего, которые скорбью и тягостью легли на ея душу, мучать ея чуткую совѣсть,—она идетъ молиться за живыхъ и за мертвыхъ, за тѣхъ, за кого, быть-можетъ, уже некому помолиться...

„Говорятъ, Лаврецкій посѣтилъ тотъ отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза—увидѣлъ ее“, читаемъ мы въ романѣ. — „Перебираясь съ клироса на клиросъ, она прошла близко мимо него, прошла ровною, торопливо смиренною походкой монахини—и не взглянула на него; только рѣсницы обращеннаго къ нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо—и пальцы сжатыхъ рукъ, перевитые четками, еще крѣпче прижались другъ къ другу.“

Ю. Николаевъ.

П а н ш и н ъ.

*) Паншинъ—тоже живой и въ своемъ родѣ замѣчательный новый русскій типъ. Тургеневъ яркими красками изо-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

бразилъ этого героя. Паншинъ — совершеннѣйшій представитель той полуобразованности, той внѣшней отдѣлки, которая иногда такъ пріятно бросается въ глаза. У него всевозможные таланты: онъ живописецъ, музыкантъ, чиновникъ, ораторъ, береиторъ, свѣтскій человѣкъ; но все это въ такой лишь степени, сколько нужно, чтобы занимать, тѣшить людей и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Чтобы приносить пользу, нужно дѣло, призваніе къ дѣлу. Всякое дѣло требуетъ участія души, а всѣ душевныя силы Паншина обращены исключительно къ самому себѣ. Впрочемъ, Паншинъ можетъ, пожалуй, играть даже и хорошаго человѣка; но игра эта будетъ натуральна только до тѣхъ поръ, покуда ничто не затронетъ его мелкихъ страстей. Тогда тотчасъ выступить наружу его пустая, безсердечная натура, отполированная только снаружи. Для людей ограниченныхъ Паншинъ кажется героемъ, представителемъ столичнаго просвѣщенія. Передъ нимъ, напримѣръ, чуть не благоговѣтъ мать Лизы, и считаетъ его прекрасной *partіей* для своей дочери. Честный старикъ Леммъ думаетъ о немъ иначе: „Лизавета Михайловна—говоритъ онъ—дѣвица справедливая, серьезная, съ возвышенными чувствами; она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ; то есть душа его не прекрасна... онъ... онъ дил-летантъ, однимъ словомъ“. Это значить: человѣкъ, который всего нахваталъ изъ книгъ, обо всемъ толкуетъ заносчиво и рѣзко; ни къ чему души не прилагаетъ, ни въ чемъ искренно не убѣжденъ. Когда Лаврецкій спокойно и благородно разбилъ его въ спорѣ на всѣхъ пунктахъ и обличилъ свѣтскаго болтуна, старушка Марѣя Тимоѣевна украдкой потрепала своего Оеда по щекѣ, лукаво прищурилась и нѣсколько разъ покачала головой, приговаривая: „отдѣлалъ умника, спасибо!“ Вообще авторъ не скупится на острые и сердитыя изобличенія напускной важности, тщеславія и самодовольства этого героя. Не безъ умысла Тургеневъ поручаетъ именно Марѣѣ Дмитриевнѣ, т. е. самой пустой госпожѣ, выразить похвалу достоинствамъ Паншина: „вотъ какой умный человѣкъ у

меня бесѣдуетъ“. Въ этой-же главѣ, именно XXXIII, авторъ какъ будто подъ вліяніемъ негодованія на изображаемый типъ, самъ прерываетъ сцену разговора дѣйствующихъ лицъ и уже отъ своего собственного лица дорисовываетъ характеръ Паншина. И въ этой дорисовкѣ авторъ торопливъ и самъ какъ будто раздраженъ. Тутъ попадаютъ о Паншинѣ такія слова: „говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленіемъ“—возражалъ раздражительно и рѣзко,—„занесся наконецъ до того, что, забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецакаго“ и т. д. Подъ конецъ же сцены, опять устами Марьи Дмитріевны, авторъ произноситъ „une nature poétique, конечно, не можетъ пахать... et puis, вы призваны, Владимиръ Николаевичъ, дѣлать все en grand“. Этимъ сарказмомъ авторъ совершенно уничтожаетъ заносчивость говоруна.

II. *Евстафьевъ.*

* * *

*) Паншинъ этотъ, по выдѣлкѣ, по обилію и роскоши второстепенныхъ подробностей, можетъ-быть, уступаетъ въ романѣ только изображенію „львицы“ Варвары Павловны, обработанному авторомъ съ изумительною тщательностію. Паншимъ вступаетъ въ семейство Лизы почти какъ побѣдитель, еще прежде какой-нибудь побѣды. Пустѣйшая мать героини—бывшая институтка—за него горой. Удивительный представитель русской полуобразованности и русскаго фальшиваго развитія, которыя такъ изумляютъ иностранцевъ, онъ надѣленъ всѣми возможными талантами: талантомъ живописца, музыкальнымъ, чиновничьимъ, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тѣшить людей, и никогда не приносить имъ ни духовной, ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и свѣтскій челоуѣкъ—и все это въ мѣру, такъ, чтобы ничто не походило на настоящее дѣло или призваніе. Всякое дѣло или призваніе требуютъ участія души и мысли, а душа и мысль

. *) П. Анненковъ. „Воспомянанія и критическіе очерки“, отд. II. Спб. 1879 г.

Паншина обращены только къ самому себѣ. Лизавета Михайловна находитъ, что онъ и *добрый человекъ*: онъ можетъ играть, пожалуй, и добраго человека очень натурально, покуда мелкія страсти, единственно доступныя ему, спятъ спокойно въ нѣдрахъ его пустой груди. Это совершеннѣйшій типъ *выправки*, которымъ наполнены канцеляріи и салоны Петербурга, смѣшной и позорный въ одно время, если разсмотрѣть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза образованнаго міра, чего, какъ извѣстно, всѣ мы крѣпко добиваемся. Въ провинціи онъ еще и представитель столичнаго *прогресса*, высокаго моральнаго и общественнаго развитія, которое тамъ совершилось или совершается.

Такой-то человекъ принялся со всѣмъ усердіемъ и со всѣмъ кокетствомъ, къ какому только способенъ, разрабатывать сердце Лизаветы Михайловны въ свою пользу, и это не изъ одной потѣхи: она успѣла тронуть даже его черствую душу. Мы застаемъ ее въ ту минуту, когда она начинаетъ поддаваться его усиліямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ читатель пораженъ въ ней признаками какого-то невольнаго страха, подозрѣнія и нерѣшительности: это и есть именно обычная работа нравственнаго чувства, замѣняющаго ей опытность и бодрствующаго надъ нею во всякое время. За блестящею наружностію Паншина, за радужною игрою его артистическихъ притязаній, свѣтскихъ пріемовъ и полупризнаній, не видится благородной дѣвушкѣ моральнаго образа, смутно-живущаго въ ея душѣ, не слышится голоса, отвѣчающаго ея предчувствіямъ и вопросамъ...

П. Анненковъ.

* * *

*) Паншинъ не служитъ никакому дѣлу, не преданъ никакой идеѣ, не выработалъ себѣ никакого твердаго, дорогого убѣжденія; прожить весело и спокойно, нравиться окружающимъ людямъ, рисоваться передъ ними разнообраз-

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Также „Сочиненія Писарева“.

ными дарованіями и чистотою нравственныхъ правилъ, возбуждать ихъ изумленіе и благоговѣніе вычитанною и кстати приведенною мыслию и, наконецъ, путями всѣхъ этихъ разнородныхъ, пустыхъ, но въ сущности безгрѣшныхъ успѣховъ достигнуть подъ старость высокаго чина и обеспеченнаго состоянія—вотъ цѣль Паншина въ жизни, и этой цѣли онъ навѣрное достигнетъ, потому что онъ человѣкъ умный, не настолько безнравственный или смѣлый, чтобы оскорбить какую нибудь продѣлкою даже самое чуткое общественное мнѣніе, и не настолько благородный и пылкій, чтобы всею душою принять какое нибудь убѣжденіе и во имя этого убѣжденія пожертвовать карьерою и временными выгодами. Паншинъ—сухой человѣкъ, примѣняющій и общія идеи и высшія стремленія къ мелкимъ выгодамъ своего я, но въ то же время тщательно скрывающій отъ всѣхъ другихъ свой узкій эгоизмъ. Онъ драпируется и постоянно играетъ роль. То онъ является государственнымъ человѣкомъ, заботящимся о нуждахъ народа и горячо принимающимъ къ сердцу все, что можетъ упрочить его благосостояніе и содѣйствовать его развитію. Въ этомъ случаѣ его пыкія и, повидимому, вдохновенныя рѣчи отличаются преобладаніемъ общихъ мѣстъ и незнаніемъ истиннаго дѣла, незнаніемъ народнаго характера и народной жизни. То онъ прикидывается художникомъ, умно говоритъ о Шекспирѣ и Бетховенѣ, съ чувствомъ поетъ, съ видомъ знатока кладетъ широкіе штрихи на единственный ландшафтъ, который рисуетъ во всѣхъ альбомахъ знакомыхъ дамъ и дѣвицъ. Здѣсь Леммъ, истинный художникъ по чувству и специалистъ своего дѣла по знаніямъ, прямо угадываетъ его неискренность, и смѣло говоритъ, что онъ неспособенъ вѣрно понимать и глубоко чувствовать. То Паншинъ просто является добрымъ, откровеннымъ малымъ, у котораго нѣтъ ни затаенной мысли ни расчета, человѣкомъ, увлекающимся минутными порывами, поддающимся мимолетнымъ впечатлѣніямъ и способнымъ, по живости и безпечности характера, надѣлать глупостей и поставить себя въ затруднительное и нелов-

кое положеніе. Тутъ притворство его обнаруживается тѣмъ, что онъ, являясь на словахъ добрымъ и простымъ малымъ, на дѣлѣ держитъ себя самымъ политическимъ образомъ. Онъ шутитъ, фамиллярничаетъ, позволяетъ себѣ вольности, но настолько, насколько можно; онъ никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляютъ личности; но онъ шутитъ только съ беззащитными людьми, съ тѣми, кто стоитъ ниже его, или съ тѣми, кто не пойметъ ироніи и приметъ ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншинъ постоянно сознательно лгалъ, играя свои роли: онъ самъ увѣренъ, что онъ и артистъ, и администраторъ, и славный малый. Потому онъ чрезвычайно доволенъ всею своею особою вообще и каждымъ изъ своихъ прекрасныхъ качествъ въ особенности; онъ актеръ, увлекающійся своею ролью и забывающій дѣйствительность. Дѣйствительности своей онъ собственно и не знаетъ: вѣчно рисуясь и передъ другими и передъ собою, онъ не успѣлъ возвыситься до безпристрастнаго размышленія надъ самимъ собою и никогда не задавалъ себѣ существеннаго вопроса: чѣмъ онъ долженъ быть и что онъ на самомъ дѣлѣ? На самомъ дѣлѣ Паншинъ человѣкъ одного разбора съ Молчалинымъ („Горе отъ ума“) и Чичиковымъ („Мертвыя Души“); онъ приличнѣе ихъ обоихъ и несравненно умнѣе перваго. Поэтому, чтобы достигнуть тѣхъ же цѣлей, къ которымъ идутъ и Молчалинъ и Чичиковъ, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не нужно будетъ ни ползать ни мошенничать: достаточно будетъ улыбнуться въ одномъ мѣстѣ, сказать ловкую фразу въ другомъ, почтительно выслушать нелѣпое разсужденіе въ третьемъ, прикинуться рыцаремъ чести въ четвертомъ—и на избранника судьбы широкою рѣкою польются земныя блага. Чичиковъ и Молчалинъ мелкіе торгаши, оттого къ нимъ и прилипаютъ грязь ихъ ремесла; Паншинъ промышленникъ большой руки, и потому онъ останется бариномъ и честнымъ человѣкомъ, не по убѣжденію, а потому, что оно и выгодно и *спокойно*. По внутреннимъ свойствамъ души, онъ ничѣмъ не *лучше* *обоихъ* *своихъ* предшественниковъ, цѣль въ жизни

у нихъ одна; все различіе заключается только во внѣшнемъ образованіи, да во внѣшней обстановкѣ. Такихъ людей формируетъ наше общество, оно воспитываетъ ихъ съ малыхъ лѣтъ въ своихъ салонахъ или канцеляріяхъ; оно потворствуетъ имъ своимъ благоволеніемъ и позволяетъ имъ достигнуть желанной цѣли, ежели они идутъ къ ней осторожно и прилично, не производя скандала и не мараю себя вопіюще безнравственностію. Въ романѣ Тургенева Паншинъ представленъ въ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ своей жизни: онъ любитъ достойную дѣвушку. Чувство, повидимому, очень благородное, но тутъ надо принять въ соображеніе три обстоятельства:

1) Онъ любитъ дѣвушку очень богатую, дѣвушку, которая во всѣхъ отношеніяхъ представляется ему приличною, почти блестящею партіей.

2) Онъ продолжаетъ рисоваться передъ любимую дѣвушкою во все продолженіе романа; онъ рисуется торжественною важностію, когда дѣлаетъ предложеніе, рисуется мрачнымъ спокойствіемъ, когда впослѣдствіи получаетъ отказъ. Чувство во все продолженіе дѣйствія не вызвало у него ни одного живого, душевнаго, нерасчитаннаго слова.

3) Онъ не понималъ и не зналъ любимой дѣвушки; разговоръ ихъ вертѣлся въ общихъ сферахъ музыки, живописи, поэзіи. Онъ говорилъ о нихъ какъ дилетантъ и свѣтскій человѣкъ. Она слушала его равнодушно и отвѣчала прилично, потому что въ разговорѣ не было одушевленія, не было откровенности. Зная одну наружность дѣвушки и довольствуясь этимъ знаніемъ, онъ не могъ любить сильно; въ тотъ самый день, когда неблагопріятно рѣшилась его судьба, онъ съ живѣйшимъ удовольствіемъ пѣлъ, игралъ въ карты и велъ пустой разговоръ съ женщиною, не заслуживавшею ни уваженія ни сочувствія развитаго человѣка. Вотъ каковъ Паншинъ!

Д. Писаревъ.

*) Если Паншинъ вообще даровитъ, если въ немъ за-
мѣтна своего рода художническая струя, то она вѣдь
остается совсѣмъ не согрѣтою хотя-бы чѣмъ-нибудь похо-
жимъ на увлеченіе. Другая, рѣшительно перевѣшивающая
сторона Паншина, сторона чиновническая, способность его
являться *исполнителемъ*, при надеждѣ со временемъ стать
министромъ, окончательно отличаетъ его какъ отъ Миха-
левича, такъ и отъ Рудина. За то уже рѣшительное сход-
ство съ послѣднимъ обнаруживается въ немъ въ то время,
когда онъ улаживаетъ себя ораторствованіемъ. И при этомъ
подъ нимъ точно также не оказывается почвы, онъ точно
также не знаетъ Россіи, хотя, на бѣду, онъ не ограничи-
вается однимъ составленіемъ плановъ, но, какъ чиновникъ,
имѣетъ или будетъ имѣть возможность и на самомъ дѣлѣ
мудрить, производить опыты надъ живымъ тѣломъ народа
русскаго. Если вѣрно Лежневское объясненіе „пустоты“
Рудина тѣмъ, что онъ космополитъ, а „космополитизмъ“—
нуль или хуже нуля, **) то тѣмъ-же самымъ космополи-
тизмомъ одержимъ и Паншинъ; только онъ, какъ космо-
политъ чиновникъ, къ сожалѣнію, не нуль, а скорѣе тотъ
пушкинскій живописецъ-варваръ, который чертитъ свой
беззаконный рисунокъ поверхъ самородныхъ созданій на-
роднаго творчества, и чертитъ его такъ безцеремонно, что
понадобилось-бы не мало усилій, чтобы стереть всю эту
мазню. „Россія отстала отъ Европы, говоритъ Паншинъ,
нужно подогнать ее... Мы больны оттого, что только на
половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ
и лѣчиться должны“... И вотъ онъ, съ цѣлой стаей дру-
гихъ, намѣренъ приняться за такое лѣченіе—изъ, конечно,
даже не прекраснаго „далека“ своей канцеляріи. Чисто
чиновничій характеръ предполагаемаго Паншинымъ лѣче-
нія сказывается въ слѣдующихъ его словахъ: „Всѣ на-
роды въ сущности одинаковы, вводите только хорошія

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Часть I. Спб. 1890 г.

**) Т.—е. космополитизмъ не въ смыслѣ братской общительности со всѣми народами, а въ смыслѣ народной безхарактерности, незнанія собственной поч-
вы, не имѣнія, въ нравственномъ смыслѣ, ни кола ни двора.

учрежденія, и дѣло съ концомъ!“... „Пожалуй, дѣлаетъ онъ уступку, можно приноравливаться къ существующему народному быту,“ но кто не знаетъ, какъ мало можно полагаться на эту бюрократическую готовность только *приноравливаться*?

О. Миллеръ.

* * *

*) Сказать, что Паншинъ — человѣкъ теоріи, мало. И Рудинъ — нѣкоторымъ образомъ человѣкъ теоріи, и душу самого Лаврецкаго подчинили себѣ теоріи въ извѣстныхъ, по крайней мѣрѣ, пунктахъ. Паншинъ — тотъ *дѣятельный* человѣкъ, тотъ реформаторъ съ высоты чиновническаго воззрѣнія, тотъ нивелеръ, вѣрующій въ отвлеченный законъ, въ отвлеченную справедливость, который равно противенъ нашей русской душѣ, явится-ли онъ въ исполненной претензій комедіи графа Соллогуба въ лицѣ Надимова, въ больномъ ли созданіи Гоголя въ лицѣ Констанжогло, въ посягающихъ-ли на лавреатство драматическихъ произведеніяхъ г. Львова, или въ блестящемъ произведеніи любимаго и уважаемаго таланта, каковъ Писемскій, въ лицѣ Калиновича.

Отношеніе Тургенева къ этой личности — совершенно правильное и законное, но самая личность и недодумана и недодѣлана. Паншинъ — великолѣпенъ, когда онъ покровительственно любезничаетъ съ Гедеоновскимъ, великолѣпенъ въ сценахъ съ Лизою, великолѣпенъ, когда онъ граціозно играетъ въ пикетъ съ Марьей Дмитріевной, великолѣпенъ въ разговорахъ съ Лаврецкимъ: однимъ словомъ, всѣ наружныя стороны его личности отдѣланы художественно, но внутренне онъ долженъ быть захваченъ и шире и крупнѣе. Вѣдь, онъ реформаторъ (пусть, вмѣстѣ съ тѣмъ и Иванъ Александровичъ Хлестаковъ въ сущности); онъ долженъ былъ совмѣстить въ себѣ цѣлый рядъ подобныхъ реформаторовъ, приглядысь къ дѣятельности которыхъ, люди

*) Ал. Григорьевъ. Сочиненія Ал. Григорьева.

жизни, люди съ широкими мечтами и планами, кончаютъ привязанностію къ почвѣ, смиреніемъ передъ народною правдою; онъ долженъ былъ войти въ картину такъ рельефно, чтобы видно было и то, какимъ путемъ онъ развился. А то, что мы о немъ знаемъ?.. Ничего, кромѣ такихъ чертъ, которыя рисуютъ просто пустого и просто внѣшняго, безсодержательнаго человѣка, да и въ этихъ немногихъ чертахъ нѣкоторыя совершенно фальшивы... Вы остаетесь въ нѣкоторомъ недоумѣніи, что именно хотѣлъ сказать Тургеневъ фигуροю своего Паншина, и какими сторонами натуры оттѣняетъ Паншинъ лицо Лаврецакаго? Тѣмъ-ли, что онъ натура чисто внѣшняя, внѣшне-даровитая, внѣшне-блестящая и т. д., въ противоположность искренней и съ виду далеко неблестящей личности главнаго героя? Тѣмъ-ли, что онъ одна изъ общихъ истер-тыхъ фигуръ свѣтскихъ героевъ, въ родѣ героевъ повѣстей графа Соллогуба и вообще повѣстей сороковыхъ годовъ? Или, наконецъ, тѣмъ, что онъ—холодная теоретическая натура, въ противоположность жизненной натурѣ Лаврецакаго?.. Провести въ Паншинѣ идею теоретической чистоты и отвлеченности у Тургенева не доставало послѣдовательности. А не доставало этой послѣдовательности только потому, что къ самому Лаврецкому нѣтъ у него окончательно ясныхъ отношеній.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Разочарованный, послѣ „Рудина“, въ западникахъ, Тургеневъ въ лицѣ Паншина, по его собственному позднѣйшему показанію, изобразилъ ложныя стороны западничества и изобразилъ превосходно.

Паншинъ — молодой петербургскій чиновникъ, которому предстоитъ блестящая карьера. Онъ — свѣтскій человѣкъ, артистъ, но прежде всего и больше всего — бюрократъ. Умѣло и ловко воспитанный отцомъ, онъ пущенъ имъ въ

*) А. Невзеновъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

свѣтъ, и прекрасно самъ пробиваетъ себѣ дорогу. Онъ разносторонне талантливъ: не дурно поетъ, сочиняетъ романсы; но Леммъ справедливо говоритъ про него Лизѣ:

„Онъ не можетъ ничего понимать; какъ вы этого не видите? Онъ дилетантъ—и все тутъ!

Вы къ нему несправедливы (пробуетъ-было возразить Лиза): онъ все понимаетъ, и самъ почти все можетъ сдѣлать.

Да (отвѣчаетъ Леммъ), все второй нумеръ, легкій товаръ, спѣшная работа. Это нравится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ—ну и bravo“.

Какъ артистъ, Паншинъ позволяетъ себѣ иногда увлеченія; но и среди нихъ онъ вполнѣ владѣетъ собою, потому что въ душѣ холоденъ какъ ледъ и хитеръ. Какъ считающій себя человѣкомъ необыденнымъ и непошлымъ, онъ увѣренъ, что подлюбилъ Лизу, и говоритъ въ отвѣтъ на отказъ ея:

„Я не хотѣлъ пойти по избитой дорогѣ... я хотѣлъ найти себѣ подругу по влеченію сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта“.

Онъ напускаетъ на себя затѣмъ грустный и меланхолическій видъ. Но встрѣча съ Варварой Павловной сейчасъ же его утѣшаетъ: онъ забываетъ хмурить брови и отрывисто вздыхать (по адресу Марьи Дмитріевны, чтобы дать ей почувствовать, какъ онъ огорченъ отказомъ Лизы), и весь отдается „наслажденію полу-свѣтской, полу-художественной болтовни“, старается понять тайный смыслъ „не строгихъ, не ясныхъ и сладкихъ рѣчей“, которыя говорятъ ему „преlestные глаза“ Варвары Павловны, старается самъ говорить глазами, и смущается только тѣмъ, что „Варвара Павловна, въ качествѣ настоящей заграничной львицы“, стоитъ выше его. Онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается въ „неограниченную, безвозвратную, безотвѣтную власть“ Варварѣ Павловнѣ, что, однако, не мѣшаетъ ему сильно подвигаться въ чинахъ и мѣтить въ директоры департамента.

Но во всемъ блескѣ своихъ достоинствъ является Паншинъ тогда, когда разсуждаетъ о государственныхъ и административныхъ вопросахъ. Особенно замѣчательны при этомъ

его самоувѣренность и его ловкое умѣнье, о чемъ бы ни заговорилъ, свести рѣчь на самого себя. Однажды они съ Лаврецкимъ горячо поспорили, встрѣтившись въ домѣ Калитиныхъ вечеромъ, когда въ большомъ кусту сирени раздавались первые вечерніе звуки соловья и „первыя звѣзды зажигались на розовомъ небѣ надъ неподвижными верхушками липъ“. — Паншинъ, прочитавши лермонтовскую „Думу“, сталъ, по поводу ея,

„укорять и упрекать новѣйшее поколѣніе, при чемъ не упустилъ случая изложить, какъ бы онъ все повернулъ по-своему, если-бы власть у него была въ рукахъ. „Россія—говорилъ онъ—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее. Увѣряютъ, что мы молоды—это вздоръ: да и притомъ у насъ изобрѣтательности нѣтъ: самъ Х—въ признается въ томъ, что мы даже мышеловки не выдумали. Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ. Мы больны, говоритъ Лермонтовъ,—я согласенъ съ нимъ; но мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лѣчиться должны... У насъ—лучшія головы—les meilleurs têtes — давно въ этомъ убѣдились; всѣ народы въ-сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно принаравливать къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; но въ случаѣ нужды, не безпокойтесь: учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ“.

Паншинъ высказалъ это западническое и вмѣстѣ либерально-чиновническое воззрѣніе на жизнь самонадѣянно и въ то же время „съ тайнымъ озлобленіемъ“. — Лаврецкій не сталъ сдерживаться, и завязался споръ.

„Лаврецкій отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи... Паншинъ возражалъ раздражительно и рѣзко, объявилъ, что умные люди должны все передѣлать, и занесся наконецъ до того, что, забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго отсталымъ консерваторомъ... Лаврецкій не рассердился, не возвысилъ голоса... и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—

того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ.

Все это прекрасно! воскликнулъ, наконецъ, раздосадованный Паншинъ: вотъ вы вернулись въ Россію, — что-же вы намѣрены дѣлать?

Пахать землю, отвѣчалъ Лаврецкій, — и стараться какъ можно лучше ее пахать“.

Такъ „западникъ“ Паншинъ оказался несостоятельнымъ передъ Лаврецкимъ.

А. Незеленовъ.

Варвара Павловна Лаврецкая.

*) Варвара Павловна Лаврецкая—совершенная противоположность Лизы въ нравственномъ отношеніи. Это типъ другого рода. Трудно представить себѣ существо съ болѣе заманчивой внѣшностью и съ большимъ нравственнымъ безобразіемъ. Въ ней соединились: и молодость, и красота, и грація, и остроуміе, и нѣкоторый блескъ образованія; но всѣ эти качества составляютъ, къ несчастію, только одинъ щегольской покровъ духовнаго убожества. Подъ изящной внѣшностію *La belle madame de Lavrezky*, какъ ее величали въ модномъ парижскомъ свѣтѣ, скрываются самыя низкія страсти. Для нея всякія благородныя человѣческія стремленія: трудъ, честь, наука, поэзія, искусство, семья, общество, — все это одни пустыя слова безъ значенія. Она живетъ единственно для удовлетворенія своихъ личныя страстей и прихотей. Наглость, лицемеріе, самый сухой эгоизмъ, — все это она считаетъ средствами дозволенными, когда они ей нужны: въ ней не воспитано *никакихъ* добрыхъ, честныхъ правилъ жизни. Поэтому она ничѣмъ нравственно и не стѣсняется; силы ея не имѣютъ нравственнаго руководителя; она ими пользуется смѣло и рѣшительно для достиженія своихъ корыстныхъ цѣлей и— въ извѣстномъ кругу людей—всегда дѣйствуетъ открыто и

*) П. Евстаѣевъ. „Новая русская литература“.

побѣдоносно. Въ этомъ-то именно кругу, въ Парижѣ, она заслужила себѣ характеристику: *cette grande dame russe si distinguée* и еще другую, для окончательной и самой *высокой* похвалы: *une vraie française par l'esprit*. Эта нравственно-убогая особа изображена въ романѣ съ безпощадной строгостью. Нигдѣ, ни на одну минуту, ни одной привлекательной въ характерѣ черты. Даже въ отношеніи къ своей маленькой дочкѣ, Адѣ, Варвара Павловна не обнаруживаетъ истиннаго нѣжнаго материнскаго чувства: мать заботится только, чтобы ребенокъ былъ одѣтъ всегда въ кружевахъ, какъ куколка. При всей строгости, съ какою Тургеневъ изобразилъ этотъ типъ молодой барыни (львицы) *si distinguée*, Варвара Павловна заслуживаетъ одинаково сожалѣнія. Съ одной стороны, это—жертва извѣстной обстановки и собственной невоспитанности; съ другой стороны, это—живой урокъ для тѣхъ людей, которые ошибочно полагаютъ, будто довольно имѣть отъ природы достаточно душевныхъ качествъ, чтобы и безъ воспитанія быть хорошимъ человѣкомъ, или—что никакимъ воспитаніемъ не разработаешь въ человѣкѣ нравственнаго характера, если человѣкъ ужъ отъ природы не хорошъ.

П. Евстафьевъ.

* * *

*) Рѣзкость или, лучше сказать, недодѣланность художественнаго представленія типа Варвары Павловны, есть, впрочемъ, рѣзкость только по отношенію къ Тургеневу, ибо сравните Варвару Павловну хоть, на примѣръ, съ барыней, выведенной въ повѣсти г. Крестовскаго: „Фразы“—Варвара Павловна выигрываетъ на сто процентовъ относительной мягкостью изображенія. Дѣло только въ томъ, что Варвара Павловна, какъ и Паншинъ—лица не центральныя, даже не самостоятельныя, не картины, а отгѣняющія: одинъ Лаврецкаго, другая Лизу. Дѣло все въ Лаврецкомъ и въ Лизѣ—узелъ драмы въ ихъ отношеніяхъ. Смыслъ этихъ отношеній слишкомъ ясенъ, чтобы о немъ надобно было толковать долго.

Ан. Григорьевъ.

*) А. Григорьевъ. „Русское Слово“ 1859 г., № 8 и Сочиненія А. Григорьева.

*) Торжествующій образъ Варвары Павловны нарисованъ такъ ярко у автора, что почти выходитъ изъ рамы повѣствованія и противорѣчитъ общему его колориту, выдержанному въ томномъ и нѣжномъ полу-свѣтѣ. Существо, болѣе безобразное въ нравственномъ отношеніи и болѣе искушающее и раздражающее въ физическомъ смыслѣ — трудно и представить себѣ. Это порожденіе особеннаго рода сборной, такъ-сказать, цивилизаціи, которая по частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человѣка, нисколько не заботясь о томъ, гдѣ она ляжетъ, на чемъ ляжетъ и какъ ляжетъ. Она только равно удаляетъ человѣка отъ народныхъ убѣжденій и отъ народныхъ предразсудковъ, отъ духовныхъ стремленій времени и отъ его заблужденій, отъ хорошихъ и дурныхъ сторонъ общаго отечества, замѣщая все это понятіемъ о служеніи самому себѣ или даже потребностямъ своего организма, какъ у нашей львицы, подъ тѣмъ покровомъ щегольства и приличія, какія только нужны не для обузданія чужихъ страстей, а для лучшаго ихъ возбужденія, прикрытія и направленія. Эта цивилизація намъ хорошо извѣстна: мы почасту различаемъ ея признаки у себя дома, преимущественно въ такъ-называемыхъ избранныхъ кругахъ общества, и можно полагать, что есть не малое количество читателейъ, публично негодующихъ на львицу Варвару Павловну, и втайнѣ, можетъ-быть, безсознательно завидующихъ ея уму и способности наслаждаться жизнію, опрокидывая всѣ препятствія на пути своемъ. Одно лицемѣріе еще связываетъ львицу Варвару Павловну съ гражданскимъ обществомъ; не будь лицемѣрія, она была бы такъ гола, такъ отвратительно свободна какъ Отаитянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ. Чему ей покоряться? Во всемъ мірѣ не существуетъ для нея какого-либо обязательнаго правила, такъ какъ внутри ея не существуетъ и признака какого-либо противорѣчія — все ясно и просто для нея, все побѣждено и покорено ею. Оттого силы для борьбы съ людьми въ пользу своихъ ин-

*) П. Анисковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки“. Сиб. 1879 г.

тересовъ, нерастраченные на воспитаніе себя, у нея всегда на лицо и дѣйствуютъ неотразимо, открыто и побѣдоносно. Моралистъ и этнографъ одинаково задумаются надъ этимъ образомъ, который такъ полно представленъ г. Тургеневымъ. Но для львицъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, недостаточно родной почвы и отечества, гдѣ, по условіямъ жизни и образованія, сцена дѣйствія еще узка и должна довольствоваться партеромъ изъ небольшого числа знатоковъ и цѣнителей этого рода талантовъ. Вотъ почему „львицы“ наши охотно бѣгутъ за границу, гдѣ арена для подвиговъ ихъ значительно расширяется, и гдѣ въ самыхъ разнородныхъ кругахъ могутъ онѣ найти полное пониманіе и полное признаніе всѣхъ своихъ доблестей. Столицы Европы наполнены этими героинями, увидѣвшими свѣтъ на родныхъ нашихъ берегахъ Клязьмы, Суры, Камы, иногда и далѣе, иногда въ бѣдномъ и нуждающемся семействѣ. Однакожъ и столицы Европы не въ силахъ, подчасъ, отказать имъ въ удивленіи. Оно и понятно. Явленіе туземныхъ львицъ, европейскихъ Варваръ Павловнъ возникаетъ отъ заблужденія страстей, отъ извращенія мысли, отъ дѣйствія различныхъ ученій, обуревающихъ общество, наконецъ, просто отъ жажды шума и извѣстности. Онѣ имѣютъ если не оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, своего рода опредѣленіе. Ничего подобного нѣтъ въ настоящей, родной нашей Варварѣ Павловнѣ. Она можетъ похвастать, что никогда не поддавалась „гибельнымъ впечатлѣніямъ“ отчего бы то ни было, что ни вредное чтеніе ни опасное размышленіе не участвовали въ образованіи ея вкусовъ, что она также мало обязана своимъ величіемъ увлеченію страсти, какъ и превратному понятію о независимости. Какъ же тутъ не удивиться? Варвара Павловна сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, оригинальное явленіе русской жизни, какъ и антиподъ ея, благородная Лизавета Михайловна: ими выражаются два противоположные полюса одного и того же общественнаго развитія.

Ничто такъ не утверждаетъ въ этомъ убѣжденіи, какъ одно обстоятельство, равно приложимое къ обоимъ лицамъ: Вар-

вара Павловна тоже не имѣла никакой подпоры внѣ себя для своего бѣдно-рожденнаго, хилаго нравственнаго чувства, какъ другая для строгаго своего идеала. Есть на свѣтѣ множество характеровъ, которые нуждаются болѣе чѣмъ въ обоихъ правилахъ, составляющихъ достояніе всего человѣчества, для того чтобы сберечь свое достоинство и укрѣпить въ себѣ нетвердыя понятія о чести. Имъ нужны еще бываютъ частныя правила разумнаго существованія, требованія, узаконенныя обычаемъ, примѣры, вошедшіе въ силу закона, словомъ—весь тотъ неписанный уставъ общежитія, какой обыкновенно вырабатывается самими народами въ своимъ нѣдрахъ, служить имъ лучшею характеристикой и составляетъ, можетъ-быть, высшее ихъ произведеніе: въ немъ различныя національности сознаютъ себя какъ нравственные лица. Подобные кодексы есть у англичанъ, нѣмцевъ, французовъ, но особенно у первыхъ; благодаря этимъ кодексамъ, всѣ личности, кромѣ гражданской и религіозной связи, связываются еще во-едино и общимъ представленіемъ житейской морали, составляя, такимъ образомъ, великое духовное братство. Никто не можетъ нарушить его, подъ опасеніемъ сильнаго нареканія, и каждый членъ безсознательно стремится возвратитъ къ нему всякаго ослушника. На эти готовые указанія долга и порядка именно и опираются люди, имѣвшіе несчастіе родиться безъ внутренней потребности къ воспитанію себя, и дѣйствительно, при бѣдности натуры, тутъ заключается, единственное спасеніе для человѣка. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ. Каждый человѣкъ у насъ есть единственный руководитель, оцѣнщикъ и судья своихъ поступковъ. Мы не можемъ согласиться другъ съ другомъ ни въ одномъ, самомъ простомъ и самомъ очевидномъ нравственномъ правилѣ, мы разнимся во взглядахъ на первоначальныя понятія, на азбуку, такъ-сказать; ученія о человѣкѣ. Представленія о дозволенномъ и недозволенномъ, въ различныхъ кругахъ нашего общества, до такой степени разнородны и противорѣчивы, что поступокъ, выставляемый на позоръ одною стороною, даетъ поводъ наивно похвастаться имъ другою стороною. Все

это называется свободой жизни. Многіе даже смотрятъ на самое явленіе какъ на весьма выгодное для общественнаго положенія, не связаннаго никакими путями, никакими узкими и тираническими опредѣленіями обычая, и потому способнаго широко развиваться во всѣ стороны. Не знаемъ, такъ ли это, но, по крайней мѣрѣ, умноженіе лицъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, въ послѣднее время, и наглые примѣры откровеннаго заявленія своего безумія, безпрестанно встрѣчающіеся, несомнѣнно свидѣтельствуетъ, кажется, что намъ покамѣстъ еще нечего гордиться этою свободой.

П. Анненковъ.

* * *

*) На ряду съ правдивымъ женскимъ образомъ Лизы, въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургеневъ создалъ другой женскій образъ, не менѣе типическій, не менѣе правдивый и обработанный, быть можетъ, еще рельефнѣе—образъ „гулящей“ россиянки Варвары Павловны Лаврецкой. Варварой Павловной художникъ какъ бы хотѣлъ отбѣнить всю нравственную и душевную прелесть и чистоту Лизы, въ лицѣ ея онъ представилъ ту холодную, душевную разнузданность, которая въ русскихъ женщинахъ встрѣчается совсѣмъ не такъ рѣдко, какъ это думаютъ и говорятъ разные фальшивые восхвалители необыкновенныхъ достоинствъ нашихъ дамъ, имѣющихъ, какъ извѣстно, въ будущемъ спасти Россію и даже, кажется, уже спасавшихъ ее не разъ въ прошедшемъ. Въ художественномъ отношеніи типъ Варвары Павловны обработанъ съ удивительнымъ мастерствомъ и силою; онъ стоитъ передъ читателями какъ живой, со всѣми существенными чертами, онъ вылился у художника такъ полно и цѣлостно. Этотъ отрицательный типъ, столь ярко нарисованный Тургеневымъ, послужилъ, потомъ оригиналомъ для множества блѣдныхъ и искаженныхъ копій. Разные заурядные сочинители нашихъ дней, еще и до сихъ поръ пробавляются въ волю копированіемъ

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

этого яркаго типа и выдаютъ банальныя снимки съ блестящей Варвары Павловны за самостоятельныя созданія своей фантазіи.

В. Буренинъ.

Михалевичъ.

*) Между выведенными въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ типами одинъ, надо замѣтить, является, повидимому, прямо противоположнымъ Рудину. Не даромъ не только въ немъ самомъ не замѣтно барство, но и друга своего, Лаврецкаго, онъ заставляетъ благодарить Бога за то, что въ жилахъ его течетъ (отъ матери) честная плебейская кровь **). Какъ мало однако-же она помогла Лаврецкому при той барской крови, которая наслѣдована имъ отъ отца, и, главное, при томъ чисто барскомъ воспитаніи, какое онъ получилъ,—это видно изъ самыхъ упрековъ ему Михалевича. Видя, что Лаврецкій совершенно раскисъ, опустился отъ своихъ семейныхъ невзгодъ, Михалевичъ напрасно ему говорить: „Ты себя вправъ,—на то ты человѣкъ, мужчина!.. Развѣ позволительно частный, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило“ (т. е. вслѣдствіе того, что пришлось обмануться въ женѣ, становиться равнодушнымъ и безучастнымъ ко всему человѣческому роду). „Ты эгоистъ—вотъ что!... Въ тебѣ нѣтъ теплоты сердечной; умъ,—все одинъ только копеечный умъ; ты просто жалкій, отсталый волтеріанецъ“ (намекъ на воспитаніе Лаврецкаго). „Нѣтъ, ты байбакъ и злостный байбакъ, байбакъ съ сознаниемъ, а не наивный“... Это послѣднее обстоятельство особенно возмущаетъ Михалевича, являющагося такимъ образомъ человѣкомъ дѣла. „И гдѣ вздумали люди обайбачиться? продолжаетъ онъ;—у насъ!... теперъ!... въ Россіи! Когда на каждой отдѣльной лич-

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Голя“.. Спб. 1890 г.

**) На происхожденіе Михалевича нѣтъ никакихъ прямыхъ указаній у сочинителя.

ности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!...“ А что это у Михалевича не просто громкое общее мѣсто, — несомнѣнно изъ того, что слѣдуетъ далѣе. Уже совершенно опредѣленная, точно выраженная задача представляется въ совѣтъ его Лаврецкому заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И вотъ именно тутъ то какъ-бы съ тѣмъ, чтобы хорошенько прокнать своего „злостнаго байбака,“ Михалевищъ напоминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна бы заставить его всѣмъ сердцемъ отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ. А между тѣмъ, съ другой стороны, тотъ же самый Михалевищъ не даромъ учился вмѣстѣ съ баричами, не даромъ хлебнулъ вмѣстѣ съ ними той отвлеченной, кажущей жизнь черезъ дымку, отуманивающей образованности, какою вскормлено было у насъ на Руси столько поколѣній. Въ силу этой-то образованности и сталъ онъ такимъ стихотворцемъ-энтусіастомъ, что пустѣйшая и бездушнѣйшая Варвара Павловна могла ему представиться изумительнымъ, геніальнымъ и притомъ предобрымъ существомъ, такъ что именно онъ-то и влюбилъ въ нее того самаго Лаврецкаго, котораго несчастіе она составила и которому онъ однакоже, какъ видѣли мы, читаетъ безпощадныя наставленія. Замѣчательно, что при всемъ этомъ онъ не сознаетъ и тѣни какой-либо вины за самимъ собою, и что у него станетъ духу, при свиданіи съ Лаврецкимъ, прежде всего другого, на цѣлую ночь завязать съ нимъ „одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди“, *) споровъ о самыхъ отвлеченныхъ предметахъ, но ведомыхъ такъ горячо, какъ будто бы „дѣло тутъ шло о жизни и смерти“. Если обратить вниманіе на это, то Михалевищъ станетъ далеко не такъ непохожъ на Рудина, какъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Точно также походитъ онъ на него въ ту минуту, когда, уже садясь въ тарантасъ, все еще развиваетъ свои воз-

*) Т. е. люди, получившіе русское отвлеченное, не непосредственно изъ самой жизни вытекающее образованіе.

зрѣнія на судьбы Россіи, припутывая тутъ „религію, прогрессъ, человѣчность“; а самъ между тѣмъ всѣ надежды свои возлагаетъ на откупщика (идеализируя, по всей вѣроятности, и его, какъ Варвару Павловну), который взялъ Михалевича единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ образованнаго человѣка. Правда, кончаетъ Михалевичъ не такъ, какъ Рудинъ. Послѣ долгихъ странствованій, онъ не только попадаетъ на пастоящее свое дѣло, но и умѣетъ удержать его за собой. Получивъ мѣсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи, онъ совершенно доволенъ своей судьбой, а воспитанники его обожаютъ, хоть и передразниваютъ.

О. Миллеръ.

* * *

*) Эпизодъ пріѣзда Михалевича къ Лаврецкому—одно изъ лучшихъ мѣстъ романа, если только въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ есть лучшія мѣста, а не все одинаково прекрасно.

Михалевичъ напоминаетъ собою Донъ-Кихота. Романистъ, идеалистъ и поэтъ въ душѣ, онъ чуждъ всякихъ эгоистическихъ и своекорыстныхъ расчетовъ. Неизмѣнный мечтатель, онъ никогда не былъ и не можетъ быть практическимъ человѣкомъ; но онъ вѣчно стремится къ дѣятельности, дѣятельности возвышенной и благородной. Подобные ему люди никакого дѣла не сдѣлаютъ; но они будятъ жизнь, не даютъ ей покрыться плѣсенью и толкаютъ на дѣло тѣхъ, кто способенъ къ нему, кто можетъ работать. Михалевичи постоянно увлекаются, разочаровываются, и сейчасъ же увлекаются снова; но въ нихъ жизнь никогда не останавливается, вѣчно кипитъ горячимъ ключомъ.

Новымъ чувствамъ всѣмъ сердцемъ отдался,
Какъ ребенокъ душою я сталъ:
И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигалъ,—

такими стихами опредѣляетъ Михалевичъ свою жизнь и

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

свои увлеченія; и это опредѣленіе прекрасно, и эти стихи обратились въ пословицу,—что особенно трогательно въ Михалевичѣ—это отсутствіе всякой заботы о себѣ,—онъ стойчески и вполнѣ добродушно, даже самъ того не замѣчая, переноситъ и бѣдность, и всякую невзгоду, и всякіе удары судьбы.—Онъ явился къ Лаврецкому проѣздомъ, на нѣсколько часовъ,—и между пріятелями сейчасъ-же завязался споръ. Но споръ этотъ не то, что споръ съ Панинымъ,—онъ горячій и душевный съ обѣихъ сторонъ.—Отвлеченный человѣкъ, Михалевичъ лишь мимоходомъ, въ двухъ словахъ, переговорилъ съ другомъ о житейскихъ обстоятельствахъ его и своихъ, и сейчасъ-же ударился въ область общихъ идей. О себѣ онъ заявилъ, что онъ теперь человѣкъ „вѣрующій“:

„я по прежнему (сказалъ онъ) вѣрю въ добро, въ истину, но я не только вѣрю,—я вѣрую теперь; да,—я вѣрую, вѣрую“.

И эта „вѣра“ его такъ искренна и сильна, и въ то же время такъ дѣтски наивна, увлеченія его такъ пламенны и крайни, что онъ мечтаетъ, какъ о великомъ счастьѣ, о томъ, чтобы дойти до фанатизма. Когда онъ упрекнулъ Лаврецкаго въ „вольтеріанствѣ“, тотъ отразилъ упрекъ восклицаніемъ:

„Послѣ этого... я въ-правѣ сказать, что ты фанатикъ!“

Увы! возразилъ съ сокрушеніемъ Михалевичъ,—я, къ несчастью, ничѣмъ не заслужилъ еще такого высокаго наименованія“.

Споръ Лаврецкаго и Михалевича замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Во 1-хъ, здѣсь обнаруживается слабая сторона Лаврецкаго. Конечно, ошибочны частныя обвиненія, которыя Михалевичъ щедрою рукою сыплетъ на своего друга, называя его и „разочарованнымъ“, и „эгоистомъ“, и „вольтерьянцемъ“, и „байбакомъ“, и „дининомъ“ и человѣкомъ, стремящимся къ какому-то „самонаслажденію“; но въ общемъ смыслѣ обвиненій и обличеній его есть *правда, есть правда въ его призывахъ Лаврецкаго на дѣло: герой романа, при всемъ своемъ умѣ, при всемъ образо-*

ваніи, при всемъ знаніи „на какую ножку (по выраженію Михалевича) нѣмецъ хромаетъ“, „что плохо у англичанъ и у французовъ“,—страдаетъ, однако, нѣкоторой наклонностью къ апатіи, къ бездѣйствію и лѣни. Онъ самъ призналъ правду подобныхъ изобличеній. Проводивъ уѣхавшаго пріятеля и возвращаясь въ домъ съ крыльца, на которомъ долго стоялъ, смотря на дорогу, Лаврецкій подумалъ:

„А вѣдь онъ, пожалуй, правъ; пожалуй, что я байбакъ“.

И поэтъ отъ себя прибавляетъ про своего героя:

„Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли въ его душу, хоть онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ“.

Затѣмъ, во 2-хъ, споръ старыхъ друзей свидѣтельствуетъ, что какъ ни расходятся они, повидимому, во взглядахъ, въ строѣ своихъ мыслей, въ характерахъ и т. д., есть тѣмъ не менѣе между ними много и очень много общаго: романтикъ и мечтатель Донъ-Кихоть Михалевичъ оказывается совершенно русскимъ человѣкомъ; а Лаврецкій—очень и очень причастнымъ тѣмъ западно-европейскимъ началамъ и вліяніямъ, которыми живетъ, весь ими охваченный, Михалевичъ: не даромъ они близки между собою и съ полуслова, съ полупамятка понимаютъ другъ друга.

Поэтъ говоритъ про ихъ споръ, что это былъ

„одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ долготѣнней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ... заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ,—и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ“.

А когда накричались они до-сыта и утомились, когда перестали состязаться, они

„еще болѣе часа бесѣдовали“, и „голоса ихъ не возвышались болѣе, и рѣчи ихъ были тихія, грустныя, добрыя рѣчи“.

Михалевичъ—такой-же простой и добрый русскій человѣкъ, какъ и Лаврецкій, хотя, въ качествѣ романтика, *я не отличается мѣткимъ юморомъ своего друга.*

А. Незеленовъ.

Иванъ Петровичъ (отецъ Лаврецкаго).

*) Теодоръ Лаврецкій—герой „Дворянского гнѣзда“ — и отецъ его, Иванъ Петровичъ, оба разрознились, раздѣлились съ окружавшею ихъ дѣйствительностію—но огромная бездна лежитъ между ними. Иванъ Петровичъ, усвоившій себѣ внѣшнимъ образомъ ученіе „изувѣра Дидерота“, такъ и остается на цѣлую жизнь холоднымъ, отрѣшившимся отъ связи съ жизнью—да отрѣшившимся не вслѣдствіе какого-либо убѣжденія, а по привычкѣ и по эгоистической прихоти, методистомъ. Анализъ жизни этого типическаго лица поистинѣ глубоокъ у Тургенева. Поразительная правдивость анализа высказывается въ особенности въ двухъ мѣстахъ. Когда послѣ ссоры съ отцомъ и послѣ брака своего съ Маланьей, Иванъ Петровичъ уѣхалъ въ Петербургъ, онъ, по словамъ автора, „отправился съ легкимъ сердцемъ. Неизвѣстная будущность его ожидала; бѣдность, быть можетъ, грозила ему, но онъ разстался съ ненавистной ему жизнью, а главное—не выдалъ своихъ наставниковъ, дѣйствительно пустилъ въ ходъ и оправдалъ на дѣлѣ Руссо, Дидерота „La Declaration des droits de l'homme. Чувство совершеннаго долга, торжество, чувство гордости—наполняло его душу“.

Ап. Григорьевъ.

* * *

**) Отецъ Лаврецкаго, какъ позднѣйшая формація типа Лучинова, доказываетъ, что одни и тѣ-же условія, даже не въ одно и то-же время, всегда влекутъ схожіе между собою результаты, и мы, слѣдовательно, въ свою очередь, не будемъ неправы, если, убѣдившись въ сходствѣ Лучинова съ Лаврецкимъ, предположимъ возможность подобія и окончанія ихъ жизненныхъ путей.

С. Венгеровъ.

*) А. Григорьевъ. Сочиненія Ап. Григорьева.
**) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представ-
леніяхъ“.

Мареа Тимофеевна.

*) Мареа Тимофеевна—превосходный типъ энергической умной барыни - старушки. Она по природѣ любить въ человѣкѣ молодость и достоинство. У ней нравъ независимый. Всѣмъ она говоритъ правду въ глаза, за что и слыветъ „чудачкой.“ Лизина мать не любитъ ее, но побаивается ея насмѣшекъ. За то Лиза только съ бабушкой одной въ семьѣ и сходится до нѣкоторой степени. Она сошлась-бы съ нею еще больше, если бъ въ бабушкѣ тоже не было кое-какихъ проявленій барскаго своеволия. Рѣчь Мареры Тимофеевны суха и рѣзка; но такъ искусно выдержана эта личность авторомъ, что читатель не обращаетъ вниманія на эту внѣшнюю грубость: ему по душѣ откровенное, честное, сердечное слово старушки.

П. Евстафьевъ.

Л е м м а.

**) Для выясненія читателю любви Лаврецкаго поэтъ избралъ именно Лемма, благороднаго представителя западно-европейской духовной жизни, — онъ заставилъ Лемма подмѣтить чувство Лаврецкаго и выразить въ чудесной вдохновенной симфоніи ту внутреннюю музыку счастья, которая звучала въ душѣ Лаврецкаго послѣ объясненія съ Лизой въ саду, послѣ перваго и послѣдняго поцѣлуя. Лаврецкій шелъ по улицамъ города, опьяненный блаженствомъ, и думалъ: „Исчезни, прошедшее, темный призракъ... она меня любитъ, она будетъ моя“, и

„вдругъ ему почудилось, что въ воздухѣ надъ его головою разлились какіе-то дивные, торжествующіе звуки... и въ нихъ, казалось, говорило и пѣло его счастье“.

Звуки неслись изъ квартиры Лемма.

„Давно Лаврецкій не слыхалъ ничего подобнаго: сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла,

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ.“ Спб. 1885 г.

вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святаго: она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса. Лаврецкій выпрямился и стоялъ, похолодѣлый и блѣдный отъ восторга. Эти звуки такъ и вливались въ его душу, только что потрясенную счастьемъ любви; они сами пылали любовью“.

„Это удивительно“, сказалъ Леммъ, „что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю“.

— Вы все знаете? произнесъ съ смущеніемъ Лаврецкій.

— Вы меня слышали, возразилъ Леммъ: развѣ вы не поняли, что я все знаю?

Превосходно въ романѣ изображеніе старика Лемма: это одна изъ самыхъ художественныхъ фигуръ, когда-либо нарисованныхъ Тургеневымъ. Бѣдный, несчастный музыкусъ, заброшенный суровой судьбою на чужбину, Леммъ много вытерпѣлъ всякаго рода невзгодъ, и сжался, ушелъ въ себя, сталъ необщительнымъ и суровымъ; но подъ грубой внѣшностью въ непривлекательной его фигурѣ таится свѣтлый умъ, умѣющий понимать людей, таится младенчески-чистая душа, мечтающая о чистыхъ звѣздахъ, о правдѣ, о Богѣ. Романтически, мечтательно-влюбленный въ свою лучшую ученицу, Лизу, онъ ей посвящаетъ свою духовную кантату. „Только праведные правы“, и чувство Лаврецкаго къ ней вдохновляетъ его на высокое художественное созданіе. Съ изумительнымъ искусствомъ изображаетъ Тургеневъ національныя черты въ его характерѣ: серьезность и ту смѣлость мысли, „которая доступна одному германскому племени“, и странный для русскаго человѣка контрастъ его филистерской жизни, съ ночнымъ колпакомъ, съ декохтомъ, съ кухаркой Катринъ, варищей ему скверный кофе—съ одной стороны, и его вдохновенныхъ творческихъ порывовъ—съ другой стороны, когда его маленькая бѣдная комнатка обращается въ „святилище“, и „высоко и вдохновенно“ поднимается „въ серебристой полутьмѣ голова старика“. Превосходно также рисуетъ поэтъ тѣ горькія минуты Лемма, когда онъ тщетно пытается создать что-либо поэтическое, высокое,—и потомъ безнадежно по-

никаетъ своей старческой головою (И какъ часты бываютъ у него такіа минуты!).

Замѣчательно, что чудная симфонія Лемма, воспѣвающая счастье Лаврецкаго, осталась неизвѣстною Лизѣ. И это не даромъ: вдохновенная музыка старика не передаетъ того, что происходило въ чистой душѣ глубоко полюбившей дѣвушки. — При всей высотѣ своей, эта музыка все-таки остается романтической, — и отвѣчаетъ романтическимъ струнамъ души Лаврецкаго. И самъ Леммъ, при всей чистотѣ своей души, не можетъ войти въ ту высшую область нравственнаго бытія, въ которой постоянно живетъ Лиза, — его не могутъ занимать тѣ высшіе вопросы, которые ее волнуютъ: онъ и не подозрѣвалъ объ извѣстіи про смерть жены Лаврецкаго, когда передавалъ въ своихъ чудныхъ звукахъ его счастье.

И не только романтизмъ, но и другія стихіи западно-европейской жизни глубоко заложены въ душѣ Лаврецкаго. Михалевичъ назвалъ его между прочимъ въ спорѣ „скептикомъ“. И въ самомъ дѣлѣ въ Лаврецкомъ есть скептицизмъ, и довольно сильный, развившійся подъ вліяніемъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, но, конечно, бывшій въ немъ и раньше. Когда Лаврецкій понялъ Варвару Павловну и разстался съ нею,

„скептицизмъ, подготовленный (говоритъ поэтъ) опытами жизни, воспитаніемъ, окончательно забрался въ его душу“.

И вотъ, онъ на все и на всѣхъ начинаетъ смотрѣть съ сомнѣніемъ. Лиза, послѣ первыхъ же встрѣчъ съ нею, произвела на него хорошее впечатлѣніе; онъ было сталъ думать о ней какъ о прекрасномъ существѣ, сталъ думать, что Паншинъ дѣйствительно, какъ говоритъ Марѳа Тимоѣевна, ея не стоитъ; но тотчасъ-же остановилъ свои размышленія скептическимъ замѣчаніемъ:

„А, впрочемъ, чего я размечтался? Побѣжить и она по той-же дорожкѣ, по какой всѣ бѣгаютъ“.

Везетъ Лаврецкій Лемма къ себѣ въ деревню гостить.

Подъ впечатлѣніями—звѣзднаго неба, „всѣхъ обязанностей дороги, весны и ночи“, старикъ размечтался о музыкѣ, о поэтическихъ словахъ для своего будущаго романа. Но Лаврецкій неожиданно охлаждаетъ его скептическимъ вопросомъ:

„Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофоръ Федоровичъ, промолвилъ онъ громко:—а какъ вы полагаете, этотъ Фридолинъ, послѣ того, какъ графъ привелъ его къ женѣ, вѣдь, онъ тутъ-то и сдѣлался ея любовникомъ,—а?“

Леммъ не выдержалъ и разсердился:

— Это вы такъ думаете, возразилъ (онъ), потому что, вѣроятно, опытъ...

и старикъ „вдругъ умолкъ и въ смущеніи отвернулся“.

А. Незеленовъ.

„НАКАНУНЪ“.

*) На г. Тургенева за его произведение („Наканунъ“) полилось столько обвиненій и упрековъ, оно вызвало столько кривыхъ толковъ, шума и брани, и въ то-же время нашло въ нѣкоторыхъ читателяхъ столько благороднаго, горячаго сочувствія, что литературная судьба этого романа можетъ считаться навсегда—упроченною. Эти толки, этотъ шумъ и крики, это ожесточенное отстаиваніе нѣкоторыхъ началъ, будто-бы разрушаемыхъ г. Тургеневымъ—все это ручается за то, что въ своемъ „Наканунѣ“ онъ коснулся весьма живыхъ интересовъ нашего общества и затронулъ такіе вопросы, которымъ скоро предстоитъ уже новое разрѣшеніе, какъ всякая новостъ, пугающая многихъ и многихъ охранителей существующаго *status quo*, облѣнившихся въ спокойномъ болотѣ рутинныхъ отношеній и до того привыкшихъ къ гладкой обрядности жизни, что они съ ужасомъ

*) П. Басистовъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

смотреть на всякое свободное движеніе живой души и хотѣть увѣрить насъ, что оно грозитъ разрушеніемъ всему, на чемъ держится семейство, общество. Особенно досталось г. Тургеневу за то, что онъ осмѣлился изобразить съ сочувствіемъ дѣвушку, которая не очень уважаетъ своего отца, холодна къ матери, не увлекается солидными качествами пріисканнаго ей родителями жениха — чиновника Курнатовскаго, съ отличіемъ подвизающагося на службѣ Ѳеодѣ — отдастъ свое сердце и руку, не спросясь родныхъ, студенту-болгарину и — о ужасъ! разночинцу! Какой ударъ нравственнымъ, общественнымъ, патріотическимъ и, наконецъ, сословнымъ предразсудкамъ! Какой ужасный примѣръ подаетъ Елена всѣмъ благовоспитываемымъ дѣвицамъ, которымъ заботливые родители всячески стараются внушить, во-первыхъ, вѣчную признательность къ нимъ уже за то одно, что они произвели ихъ на свѣтъ, и, во-вторыхъ, неуклонное повиновеніе ихъ волѣ, хотя-бы дѣло шло о сердцѣ, которымъ никто распоряжаться не воленъ! Какое опасное противоядіе всѣмъ ихъ спасительнымъ наставленіямъ, всей ихъ заботливости, съ которой они внушаютъ имъ съ шестнадцатилѣтнаго возраста думать о выгодной партіи, полагая все счастье въ нарядахъ, экипажахъ, балахъ и визитахъ!... Мнѣ случилось слышать, какъ одна маменька называла Елену „мерзавкой“... Эта маменька произносила это милое слово съ особеннымъ удареніемъ при своей дочкѣ, которая также имѣла неосторожность влюбиться не по календарю... Нашлась такая-же маменька и въ литературѣ и разбранила Елену на чемъ свѣтъ стоитъ. Конечно, въ печати не явилось ругательствъ, неприличныхъ печати, за то какихъ преступленій, какихъ ужасовъ не было приписано бѣдной Еленѣ!... какихъ обидныхъ эпитетовъ не надавала ей эта блюстительница правовъ, скромно-подписавшаяся не болѣе, какъ „русской женщиной“ въ газетѣ г. Павлова „Наше Время“.

Впрочемъ, на обвиненія этой госпожи превосходно отвѣчала другая русская женщина и, послѣ ея краснорѣчивой аполוגіи, ничего не остается прибавить въ пользу Елены;

можно только посоветовать всѣмъ тѣмъ, кто видитъ въ Еленѣ разрушительницу семейной нравственности, прочесть статью Евгеніи Туръ *) съ должнымъ вниманіемъ. Въ этой статьѣ любительницы патриархальной жизни найдутъ, между прочимъ, и одну утѣшительную для нихъ мысль, именно: что г. Тургеневъ вовсе и не думалъ ставить своей Елены за образецъ—съ чѣмъ также нельзя не согласиться.

П. Басистовъ.

*
* * *

**) Повѣсть г. Тургенева „Наканунъ“, въ которой авторъ, какъ будто покончивъ съ типами доселѣ имъ любимыми, пытается создать новыхъ людей, ожидаемыхъ обществомъ, встрѣчена была такими разнообразными толками и противорѣчащими сужденіями, какими не сопровождалось ни одно изъ его произведеній, хотя критика не успѣла еще разработать этотъ типъ-памеъ, представленный г. Тургеневымъ, не успѣла еще освоиться съ нимъ. Большинство осталось положительно недовольнымъ этимъ болгаромъ Инсаровымъ, увлекшимъ русскую дѣвушку, на которую авторъ потратилъ все богатство своего поэтического творчества, для которой не пожалѣлъ ни красокъ ни любви. Одни негодовали на то, что этотъ пришлецъ Инсаровъ лицо очень не поэтическое, что онъ нигдѣ не выказываетъ своей дѣятельности, что дѣятельность эта, насколько она проявляется въ повѣсти, очень пуста и ничтожна, и что напрасно авторъ своимъ Инсаровымъ тычетъ какъ бы въ глаза такимъ развитымъ, богато-одареннымъ натурамъ, каковы художникъ Шубинъ или ученый Берсенева. Другіе порицали автора за то, что, взявъ своего новаго героя изъ Болгаріи, онъ какъ будто этимъ хотѣлъ сознаться, что земля наша велика и обильна и много производитъ прекрасныхъ личностей, а Инсаровыхъ въ ней покуда еще нѣтъ, такъ что приходится ихъ, какъ норманновъ или литовцевъ, выписывать изъ-за моря. Однимъ словомъ, впечатлѣніе, произве-

*) „Московскія Вѣдомости“ 1860 г., № 35.

**) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К.—аго.

денное новою повѣстію г. Тургенева, было больше неблагоприятно, чѣмъ благоприятно; иные, назойливые люди, доходили до убѣжденія, что авторъ подвергнулся полному fiasco, и что только чудная прелесть, дѣвственная поэзія его „Первой любви“, искупаетъ недостатки „Наканунѣ“, повѣсти, написанной съ неудачною тенденціей. Такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Точно-ли г. Тургеневъ заслуживаетъ упрековъ и порицанія, и не виновата-ли сама жизнь въ томъ, что первый встрѣчающійся въ нашей литературѣ типъ Инсарова, человѣка цѣлаго, неразвоеннаго и не надорваннаго,—человѣка, у котораго слово и дѣло сливаются въ одно, у котораго нѣтъ готовыхъ на устахъ, но никогда не примѣняемыхъ къ дѣлу фразъ, который не задумывается надъ любовью или ненавистью, надъ долгомъ или страстію, который весь отдался великому дѣлу, совершаемому имъ безъ парада и шума, безъ реторики и кривляній,—что типъ Инсарова вышелъ не вполне удаченъ и неудовлетворяетъ насъ? Былъ-ли онъ въ состояніи сдѣлать изъ этого лица такой полный и опредѣленный образъ, какой представляютъ намъ „Лишніе люди“: Рудины et tutti quanti, эти „грызуны, гамлетики, самоѣды“, какъ называютъ ихъ Шубинъ, люди, которыхъ огромное число выкормила и похоронила русская земля, съ которыми сжился талантъ г. Тургенева? Да, виновата среда, если лицо Инсарова въ русской повѣсти кажется намъ иностраннымъ; авторъ самъ чувствовалъ неловкость своего героя, если бы онъ родился въ русской кожѣ, и выписалъ его изъ Болгаріи. Намъ горько и больно это обстоятельство; но дѣлать тутъ нечего, и мы покорно клонимъ голову передъ неизбежнымъ произволомъ автора, но за то радостно привѣтствуемъ этотъ новый, невиданный дотолѣ въ русской литературѣ, а слѣдовательно и жизни, образъ, какъ заждашіеся, старѣющіе супруги привѣтствуютъ первое дитя свое, ожидаемое съ трепетомъ и молитвою.

Содержаніе „Наканунѣ“ все основано на любви, составляющей паѳосъ повѣсти, въ которомъ пробуются разные характеры и гдѣ побѣдителемъ является болгаръ Инсаровъ,

подчиняющій себѣ въполнѣ одинъ изъ лучшихъ женскихъ характеровъ, когда-либо созданныхъ г. Тургеневымъ. До сихъ поръ женщины г. Тургенева стояли гораздо выше мужчинъ; теперь онъ, повидимому, ставитъ своего новаго героя выше этой Елены... Разладъ, который вносится въ русскую жизнь, появленіемъ Инсарова въ повѣсти Тургенева, очень естественно долженъ былъ привести нѣкоторыхъ критиковъ къ обвиненію его въ томъ, что онъ сошелъ съ настоящей своей дороги, что онъ въ ущербъ своему таланту, сталъ „увлекаться философскими воззрѣніями на жизнь“, что идея повѣсти „въ состояніи сбить съ толку весьма многихъ, не утвердившихся еще во взглядѣ на личные характеры и общественныя отношенія, который служитъ основаніемъ истинной нравственной философіи“. Таково, по крайней мѣрѣ, содержаніе критики „Нашего Времени“ (№ 9), журнала, такъ неудачно пытавшагося разрушить послѣднюю драму г. Островскаго.

Изъ „Русскаго Слова“. Статья Н. К—аю.

* * *

*) Увлечшись превосходнымъ, глубоко-психологическимъ анализомъ Донъ-Кихота, возбуждающимъ горячее сочувствіе къ этому міровому типу указаніемъ свѣтлыхъ его сторонъ, и встрѣтивъ—не *въ* Инсаровѣ, а *объ* Инсаровѣ—такія же черты въ „Наканунѣ“, иные критики очень горячо принялись разсуждать о томъ, что для насъ прошла пора гамлетовъ; что довольно мы разсуждали; что намъ теперь нужны Донъ-Кихоты, люди дѣла, люди, способные къ самоотверженію, которые бы привели въ исполненіе то, что мы до-сихъ-поръ только придумывали. До-сихъ-поръ у насъ были гамлетики, грызуны, самоѣды и проч. Теперь намъ нужны люди, герои для борьбы съ врагами внутренними, не говоруны и не рефлектеры, а практическіе дѣятели; надобно, чтобъ они всею силою души своей захотѣли ўвра-

чевать наши раны, вполне отдались идеѣ общаго блага, слились съ нею своимъ существомъ, и т. п. И возможность Елены показываетъ возможность такихъ людей. Вотъ мысль новаго романа г. Тургенева! Вотъ что хотѣлъ онъ сказать его заглавіемъ! До-сихъ-поръ мы разсуждали, сознавали извѣстныя идеи и стремленія; теперь мы *наканунъ* людей дѣла, которые осуществлять ихъ.

Итакъ, на г. Тургенева хотятъ взвести такую мысль, что намъ не нужно теперь ни искусство ни наука, а нужны одни практическіе дѣятели? Ужели онъ сказалъ это? Странно, какъ эти толкователи не замѣтили, что въ той же самой повѣсти эти безсмысленные крики: „практики! практики! давайте намъ практики!“! превосходно осмѣяны въ лицѣ Лупоярова, какъ снѣгъ на голову сваливагося къ Инсарову въ Венеціи... Не безтолковой практики, безъ мысли, хочетъ г. Тургеневъ. Идеа его задумана глубже. Въ лицѣ Елены онъ задаетъ вопросъ: *что* надобно дѣлать, и *какъ* дѣлать?

Литература наша не со вчерашняго дня занимается рѣшеніемъ этого вопроса и до сихъ поръ пыталась представить намъ уже нѣсколько идеальныхъ образцовъ дѣятельности. Еще г. Авдѣевъ, въ лицѣ трудолюбиваго чиновника Иванова, хотѣлъ вывести идеаль истиннаго дѣятеля, намъ нужнаго. Тоже повторилъ г. Писемскій своимъ Калиновичемъ, но уже съ печальнымъ исходомъ, показывающимъ, что въ этомъ родѣ дѣятельности нѣтъ спасенія. Г. Гончаровъ создалъ Штольца; но этотъ идеаль вышелъ чѣмъ-то въ родѣ облагороженнаго Чичикова, и не удовлетворилъ публику. Наконецъ, г. Тургеневъ является съ новымъ идеаломъ—Инсаровымъ. Посмотримъ-же, много-ли онъ сказалъ этимъ лицомъ.

Если Елена выражаетъ собою протестъ противъ существующаго въ нашей жизни, то Инсаровъ, которому Елена отдастъ преимущество передъ Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ, естественно долженъ представить положительный идеаль, взятый изъ чуждой намъ жизни, какъ *несуществующій* еще въ нашей дѣйствительности, но же-

лаемый. Слѣдовательно, значеніе Инсарова должно заключаться въ контрастѣ, который укажетъ авторъ, между нимъ и представителями русской дѣятельности—Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ—въ главныхъ ея проявленіяхъ: наукѣ, искусствѣ, практической дѣятельности.

Мы настолько убѣждены въ сочувствіи г. Тургенева къ искусству (котораго онъ самъ служить однимъ изъ представителей) и къ наукѣ (которую онъ такъ прекрасно умѣлъ почитать въ лицѣ покойнаго Грановскаго), что не беремъ на себя смѣлости думать, чтобъ онъ хотѣлъ унижить ихъ въ пользу практической дѣятельности. Не думаемъ также, чтобы онъ понималъ слово „дѣятельность“ такъ узко. Вѣдь и Шубинъ дѣйствуетъ: онъ надѣлалъ шуму своей Вакханкой; и Берсенева дѣйствуетъ: онъ обратилъ на себя вниманіе ученой публики своими дѣльными сочиненіями; и Курнатовскій дѣйствуетъ: онъ честно и добросовѣстно исполняетъ свои служебныя обязанности. Стало быть, если г. Тургеневъ и выводитъ въ Инсаровѣ контрастъ со всѣми этими лицами, то, кажется, не для того, чтобъ протестовать противъ *такой* художественной, ученой и гражданской дѣятельности, какую представляютъ собою Шубинъ, Берсенева и Курнатовскій.

II. Басистовъ.

* * *

*) Кромѣ фальшиваго пониманія и уродливаго построенія, въ романѣ „Наканунъ“ есть еще недоговоренность, умысленная недоконченность въ выраженіи главной идеи. Нѣтъ отвѣта на естественный вопросъ: нашла-ли Елена своего героя въ Инсаровѣ? Вопросъ этотъ очень важенъ, потому что онъ ведетъ къ рѣшенію общаго психологическаго вопроса: Что такое мечтательность и исканіе героя? Болѣзнь-ли это, порожденная пустотою и пошлостью жизни, или это естественное свойство личности, выходящей изъ обыкновенныхъ размѣровъ? Есть ли это проявленіе силы

*) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г., № 12. Также Сочиненія Писарева.

или проявленіе слабости? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, надо было создать для Елены самыя благопріятныя обстоятельства, и тогда въ картинахъ и образахъ показать намъ: счастлива-ли она или нѣтъ? А тутъ, что такое? Инсаровъ скоропостижно умираетъ: да развѣ это рѣшеніе вопроса? Къ чему эта смерть, обрывающая романъ на самомъ интересномъ мѣстѣ, замазывающая черною краскою неоконченную картину и избавляющая художника отъ труда отвѣчать на поставленный вопросъ? Но, можетъ быть, Тургеневъ и не задавалъ себѣ этого вопроса? Можетъ быть, для него центромъ романа была не Елена, а былъ Инсаровъ? Тогда остается только пожалѣть, что въ плохомъ дидактическомъ романѣ, похожемъ на Обломова по идеѣ, встрѣчается такъ много такихъ великолѣпныхъ частныхъ, какъ, напримѣръ, личности—Елены, Шубина и Берсенева, дневникъ Елены, сцена ожиданія, сцены любви, и, наконецъ, неподражаемый Уваръ Ивановичъ.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Въ „Наканунѣ“ семейныя рамки раздвигаются. На первомъ планѣ рисуется передъ вами женщина, мечтающая не о такомъ только героѣ, который, раставши въ любви, осыпалъ бы ее золотымъ дождемъ. Такихъ героевъ встрѣчаетъ Елена Николаевна на каждомъ шагѣ. Берсеновъ и Шубинъ готовы броситься въ этну, чтобы осчастливить ее; но такое счастье кажется ей приторнымъ, мелкимъ и жалкимъ: она мечтаетъ о какой-то иной жизни, полной дѣятельнаго добра... Она мечтаетъ о такомъ героѣ, съ которымъ она пойдетъ рука объ руку, и будутъ они дѣлать великое дѣло. Такимъ героемъ является Инсаровъ. Его живой энтузіазмъ, его увлеченіе не одною личною любовью къ героинѣ, но и любовью къ родинѣ, наконецъ, увлеченіе Елены имъ въ силу его общественнаго энтузіазма—все это представляется чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ и не-

*) *Александровъ (псевдонимъ).* „Невскій Сборникъ“ 1867 г.

виданнымъ въ прежней дѣятельности г. Тургенева. Казалось, съ этой повѣсти начнетъ поворотъ въ дѣятельности г. Тургенева, вмѣстѣ съ вѣнкомъ, и г. Тургеневъ представитъ намъ новые типы, новыя положенія, новые вопросы... Но кто могъ думать, что подъ новою оболочкою таилась старая гниль. Эта новая оболочка, эти широкіе вопросы, которые поставлены въ основаніе повѣсти, взяты авторомъ напрокатъ и разработаны отвлеченно, безъ всякаго примѣненія ихъ къ русской жизни, безъ всякаго анализа русской жизни на основаніи ихъ. Для того, чтобы создать типъ живого, вольнаго, увлеченнаго благимъ дѣломъ, г. Тургеневъ взялъ совершенно чуждый русской жизни типъ болгара, жаждущаго освободить свою родину. Инсаровъ въ сущности ничѣмъ не отличается отъ Рудина. Его замыселъ освободить Болгарію такой-же рискованный и безумный, какъ и пропытіе фавратора Рудина, какъ и всякое подобное предпріятіе, выходящее изъ ряда мелкихъ дѣлишекъ Адуева, Штольца и прочихъ мудрецовъ вѣка сего. Рудинъ способенъ на рискованную женитьбу не менѣе Инсарова; а съ другой стороны, и самъ Инсаровъ, если онъ и женился такъ отважно на Еленѣ, то это потому, что встрѣтилъ дѣвушку готовую вмѣстѣ съ нимъ дѣлать дѣло въ такую минуту, когда дѣло было въ рукахъ, и счастье жизни Инсарова — свобода родины, — было такъ близко. Но Богъ знаетъ, женился-ли бы Инсаровъ, если-бы онъ былъ въ положеніи Рудина? Женился-бы онъ на Еленѣ послѣ Крымской войны, когда оказалось-бы, что дѣло его потеряно, и Болгарія продолжаетъ находиться подъ властью Турокъ? Если-же Инсаровы встрѣчаются и въ русской жизни, какъ бы ни было ихъ мало, то почему же г. Тургеневу нужно было насиловать свое воображеніе и придумывать Инсарова, вмѣсто того, чтобы взять его изъ нашей среды?... А потому, вотъ видите, что въ Россіи такихъ людей совсѣмъ нѣтъ, по мнѣнію г. Тургенева: „нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотрю. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да

палки барабанныя!..." „Будутъ“, утѣшаетъ себя вслѣдъ затѣмъ Тургеневъ словами Увара Ивановича. Почему-же будутъ, если ихъ нѣтъ теперь... Откуда они явятся? Съ неба свалятся, что ли?... Въ томъ то и дѣло, что такіе люди всегда были и всегда будутъ, только мы долго еще не будемъ понимать ихъ; долго еще они будутъ маяться и увядать безъ дѣла; долго еще они будутъ казаться намъ или холодными резонерами или жалкими безумцами, и мы будемъ бросать въ нихъ грязью и смѣшивать ихъ съ шулерами, берущими въ долгъ безъ отдачи. Г. Тургеневу ничего не стоило создать отвлеченно типъ освободителя Болгаріи, но въ то-же время онъ привыкъ мѣрять русскую жизнь на узенькій филистерскій аршинчикъ; и тотъ-же Инсаровъ—въ русской жизни чуждъ и противенъ для него, что онъ и показалъ, какъ въ „Рудинѣ“, такъ и въ „Отцахъ и дѣтахъ“...

Характеръ Елены, представляющій, повидимому, столько новыхъ, неслыханныхъ до того времени мотивовъ, въ свою очередь, скрываетъ подъ новою оболочкою старую гниль... Елена является передъ нами женщиною, какихъ до нашего времени совсѣмъ не было, а если и было, то очень мало. Она мечтаетъ не объ однихъ нарядахъ и не объ одной любви, но и о жизни, полной дѣятельнаго добра... но почему же она только мечтаетъ объ этой жизни, почему она не живетъ ею? Почему для осуществленія этой жизни, ей непремѣнно нужно героя, который повелъ бы ее по дорогѣ дѣятельнаго добра. А сама она не можетъ идти по этой дорогѣ?... Я нисколько не отрицаю необходимости встрѣчи Елены съ Инсаровымъ. Конечно, ужъ если выходить замужъ Еленѣ, то выходить за такого человѣка, какъ Инсаровъ... Но какое же отношеніе имѣетъ замужество и жизнь полная дѣятельнаго добра? Мнѣ представляется, что это два интереса въ жизни, совершенно различные, и если они имѣютъ взаимное отношеніе, то скорѣе вопросъ о замужествѣ долженъ зависѣть отъ вопроса о жизни полной дѣятельнаго добра; у г. Тургенева же это выходитъ какою-то: *вопросъ о жизни полной дѣятельнаго добра является*

у него совершенно подчиненнымъ вопросу о замужествѣ; для того, чтобы осуществить такую жизнь, Еленѣ непременно нужно встрѣтить Инсарова... Ну, а если бы она Инсарова не встрѣтила, неужели она въ такомъ случаѣ должна была бы вѣчно ограничиваться одними мечтаніями?... Что за жалкое существо въ такомъ случаѣ женщина! Неужели не можетъ она шагу ступить, если услужливый кавалеръ не протянетъ ей руку?...

Женскій вопросъ въ „Наканунъ“ представляется, такимъ образомъ, чѣмъ то въ родѣ вопроса о кадрилѣ или вальсѣ: ангажируетъ кавалеръ, — барышня протанцуетъ съ нимъ нѣсколько туровъ на поприщѣ дѣятельнаго добра, а если кавалеръ пройдетъ мимо, барышня такъ и остается сидѣть возлѣ своей маменьки. А отчего происходитъ такой курьезный взглядъ г. Тургенева на женскій вопросъ? Опять таки оттого, что на первомъ планѣ у г. Тургенева семейный вопросъ, сквозь который онъ смотритъ на всѣ прочія отношенія жизни. Г. Тургеневъ никакъ не можетъ понять, что женщина можетъ любить, одерживать побѣды, страдать отъ неудачной любви, быть, наконецъ, хорошо женою и матерью, — и въ то же самое время, совершенно безотносительно отъ всего этого, вести жизнь полную дѣятельнаго добра. Вѣрный своему принципу, г. Тургеневъ предписываетъ и здѣсь свой неизмѣнный ультиматумъ: или любовь или смерть.

Изъ „Невскаго Сборника“. Статья Аландрова.

* * *

*) Г. Тургенева по справедливости можно назвать представителемъ и пѣвцомъ той морали и философіи, которая господствовала въ нашемъ образованномъ обществѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Онъ быстро угадывалъ новыя потребности, новыя идеи, вносимыя въ общественное сознаніе, и въ своихъ произведеніяхъ непремѣнно обращалъ (сколько

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3 и „Современникъ“ 1860 г., № 3. Статья „Когда же наступитъ настоящій день?“

позволяли обстоятельства) вниманіе на вопросъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество...

Общественная потребность дѣла, живого дѣла, начало презрѣнія къ мертвымъ принципамъ и пассивнымъ добродѣтелямъ выразились во всемъ строѣ повѣсти „Наканунъ“. Мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какую-нибудь новую сторону общественныхъ отношений, — это служить ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дѣйствительно подымается въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни и начинаетъ выдаваться и скоро выкажется рѣзко и ярко предъ глазами всѣхъ....

Талантъ г. Тургенева не изъ тѣхъ титаническихъ талантовъ, которые единственно силою поэтическаго представленія поражаютъ, захватываютъ васъ и влекутъ къ сочувствію такому явленію или идеѣ, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротивъ—мягкость и какая-то поэтическая умѣренность служатъ характеристическими чертами его таланта.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Романъ „Наканунъ“ появился прямо вслѣдъ за романомъ „Дворянское гнѣздо“ и вызвалъ общія похвалы одинаково во всѣхъ журнальных лагеряхъ, особенно въ лагерь либеральной критики. Это произведеніе было послѣднимъ, угодившимъ названной критикѣ: вмѣстѣ съ нимъ кончилось ея благоволеніе къ Тургеневу надолго, чуть не на цѣлыя двадцать лѣтъ. При появленіи „Наканунъ“, Тургеневъ былъ въ „Современникѣ“ провозглашенъ однимъ изъ самыхъ полныхъ и самыхъ лучшихъ выразителей прогрессивныхъ стремленій; а черезъ два года въ томъ же „Современникѣ“ низведенъ на степень самыхъ несомнѣнныхъ ретроградовъ, и не только „Отцы и дѣти“, послужившіе поводомъ для такого низведенія, но и всѣ прежнія его

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Сиб. 1884 г.

произведенія объявлены антипрогрессивными. Такое ужъ тогда время было рѣшительное: легко воздвигали кумиры и кланялись имъ въ ноги, и столь же легко ихъ низвергали и топтали ногами. Особеннымъ настроеніемъ времени слѣдуетъ объяснить и ту тенденцію, которую Тургеневъ въ своемъ романѣ постарался выразить въ главной героинѣ, нервной московской барышнѣ Еленѣ Стаховой, инстинктивно искавшей для своей любви непременно героя-гражданина и нашедшей его, благодаря остроумію автора, въ болгаринѣ Инсаровѣ, такъ какъ російская почва въ то время гражданъ еще не производила. Время появленія романа „Наканунъ“ было по преимуществу временемъ исканія „гражданскихъ мотивовъ“ во всемъ, начиная съ поэзіи и кончая... обѣдами, на которыхъ провозглашались тосты и спичи за прогрессъ и свободу. Нельзя отнять у этого любопытнаго времени искренняго и благороднаго энтузіазма, искренняго и смѣлаго подъема общественнаго духа, хорошихъ и честныхъ увлеченій; но въ то же самое время нельзя не признать въ его усиленныхъ и возвышенныхъ волненіяхъ и тревогахъ большой дозы легкомыслія, фразерства, поверхностности, бѣганія за либеральной модой. Тургеневъ, при его чуткой отзывчивости на всякое біеніе общественнаго пульса, при его склонности къ отраженію всякихъ умственныхъ и нравственныхъ колебаній нашей жизни, не могъ не подчиниться лучшимъ сторонамъ того духа, который вѣялъ тогда такую освѣжающую струей, не могъ не отвѣтить своимъ сердцемъ на то, что тогда „просило у сердца отвѣта“. И онъ отвѣтилъ романомъ, въ самомъ названіи котораго было что-то обѣщающее, зовущее впередъ, онъ отвѣтилъ образами Елены и Инсарова, въ художественномъ отношеніи нѣсколько блѣдными и неопредѣленными, но задуманными необыкновенно умно и, при всемъ, почти исключительномъ, участіи въ ихъ созданіи одного ума, нарисованными увлекательными красками. Въ этомъ трудномъ и рѣдко удающемся дѣлѣ, т. е. въ созданіи образовъ нестолько творческой фантазіей, сколько мыслью, *нашему художнику сослужило, кажется, большую службу*

его глубокое знакомство съ художественными образцами европейскихъ литературъ и тонкое изученіе беллетристической техники...

Оставляя въ сторонѣ нѣкоторую перерисовку личности Елены и недорисовку личности Инсарова, въ общемъ романъ „Наканунъ“ долженъ быть признанъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, самыхъ крупныхъ романовъ Тургенева. Не говоря уже о превосходной художественной выработкѣ второстепенныхъ лицъ романа, Берсенева, Шубина, отца и матери Елены, даже „черноземной силы“—Увара Ивановича, весь романъ проникнутъ дѣйствительно какимъ-то тревожнымъ, нервнымъ, поднимающимъ чувствомъ, которое въ то время отвѣчало какъ пельзя болѣе живо общественному настроенію. Кромѣ того, самый замыселъ романа представляется значительно расширеннымъ противъ замысла прежнихъ произведеній; видно, что Тургеневъ освободился уже отъ своей старой, тревожившей его творческую фантазію много лѣтъ задачи: обрисовки несостоятельности типа идеалистовъ сороковыхъ годовъ. Въ романѣ „Наканунъ“ художникъ вышелъ на новый путь, на поиски новыхъ, молодыхъ типовъ. Пусть эти поиски ограничились не вполне жизненнымъ образомъ Елены и довольно безцвѣтною фигурою Инсарова; но уже самый фактъ стремленія художника уловить и опредѣлить въ конкретныхъ чертахъ новые типы, раскрыть основное содержаніе „гражданской“ идеи, которая направляла жизненное развитіе—самый этотъ фактъ значилъ въ свое время очень многое. Фактъ этотъ показалъ всю изумительную чуткость художническаго дарованія Тургенева, съ одной стороны, и съ другой—всю живость его наблюдательности, силу его аналитическаго ума. Въ то время, когда беллетристика не дерзала даже помыслить о героѣ-гражданинѣ, можетъ быть, даже не подозрѣвала возможности такого героя на Руси, Тургеневъ не задумался вызвать его образъ, остроумно позаимствовавъ этого героя хотя и на чуждой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на родной намъ почвѣ. Такое позаимствованіе—*замѣтимъ кстати*—очень знаменательно: въ этомъ обраше-

ніи къ нашимъ единокровнымъ братьямъ за героемъ-гражданиномъ, быть можетъ, у Тургенева сказалось инстинктивное сочувствіе славянству, инстинктивное влеченіе, коренящееся невольно въ каждомъ крупномъ представителѣ русской національности, какимъ, безъ сомнѣнія, былъ авторъ „Наканунъ“.

В. Буренинъ.

* * *

*) Къ нерадостнымъ заключеніямъ привели два большихъ романа Тургенева: „Рудинъ“ и „Дворянское гнѣздо“. Два „героя времени“, изображенные въ нихъ, два лица, на которыхъ послѣдовательно возлагалъ поэтъ великія надежды, оказались несостоятельными.

„Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду“, сказалъ Рудинъ. И, дѣйствительно, такъ и случилось.

„Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!“ сказалъ Лаврецкій. И этими словами самъ призналъ себя „сошедшимъ съ земного поприща“ (какъ выразился про него поэтъ), отжившимъ человѣкомъ въ 45 лѣтъ, отжившимъ преждевременно, потому что не смогъ подняться на высоту своего призванія, своихъ силъ, на ту высоту, куда такъ долго, такъ тщетно звала его Лиза.

Тургеневъ развѣнчалъ обоихъ своихъ героевъ. Но въ немъ самомъ еще жива и сильна была вѣра въ человѣка вообще, въ русскую нашу жизнь въ частности. И какъ было не остаться этой вѣрѣ живою, когда не все поддавалось разлагающей силѣ его анализа, когда уцѣлѣли передъ могуществомъ этого анализа два женскихъ образа — Наталья и Лиза. Несостоятельнымъ оказался мужчина; выдержала строгій и безошадный судъ поэтической правды русская женщина.

И вотъ въ новомъ романѣ поэта — „Наканунъ“ — мы видимъ опять великія надежды. Но надежды эти возлагаются

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Сиб. 1885 г.

теперь на женщину, и она является героиней произведенія.—Наталья и Лиза, высокія нравственно, сильно и благотворно вліявшія на Рудина и Лаврецькаго, хотя и не спасшія ихъ, не стояли, однако, въ романахъ на первомъ планѣ, потому что, по волѣ поэта, имъ не дано было инициативы: Наталья, когда разочаровалась въ Рудинѣ, и когда разбились ея высокія мечты о жизни, вышла замужъ за честнаго, но тупоумнаго Волицева; Лиза — добровольно сошла съ земного поприща, удалилась въ монастырь.

Въ новомъ своемъ романѣ Тургеневъ попробовалъ придать характеру женщины инициативу. Изъ его творческой фантазіи вышелъ образъ самобытно стремящейся на дѣло—Елены.

Елена, какъ извѣстно, уходитъ изъ русской жизни, не удовлетворившись ею и не найдя въ ней дѣятельности для себя. Это обстоятельство, равно какъ и то, что русская жизнь изображена въ „Наканунѣ“ безъ героя, безъ вождя, безъ руководящей силы, повидимому, свидѣтельствуешь, что поэтъ отрицательно относится къ нашей дѣйствительности, по крайней мѣрѣ, въ ея настоящемъ, что онъ какъ будто отчаялся въ ней. Онъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ романа произносить суровые приговоры надъ русской жизнью и надъ самими собою.

„Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду!“

говорить Шубинъ. Съ подобными мыслями соглашается какъ-будто самъ поэтъ. Соглашается онъ какъ-будто даже съ желчнымъ заключеніемъ Инсарова, сказавшаго Еленѣ послѣ посѣщенія ихъ, въ Венеціи, Лупояровымъ, пустымъ болтуномъ и самонадѣяннымъ фразеромъ:

„Вотъ... вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной важничаетъ и рисуется, а въ душѣ такой же свистунъ, какъ этотъ господинъ“.

Но, несмотря на все это, не отчаяніе слышится въ общемъ тонѣ романа, а надежда. Недаромъ дано произве-

денію названіе „Наканунъ“, недаромъ предшествовавшій романъ, „Дворянское гнѣздо“, окончился исполненнымъ вѣры привѣтомъ молодому поколѣнію русскихъ людей:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! (говоритъ Лаврецкій)... жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!—а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать“.

Это молодое поколѣніе, къ которому съ такимъ привѣтомъ обратился Лаврецкій, и изображено въ „Наканунъ“. Оно не выдвинуло изъ своей среды героя, оно оказалось несостоятельнымъ. Но оно такъ полно жизни, жизни прекрасной, даровитой, бойкой, умной, честной; его представители въ романѣ такіе симпатичные люди,—что надежды, положенныя поэтотъ въ основу романа, понятны; понятна его вѣра, что мы „наканунъ“ появленія настоящихъ дѣльныхъ людей, настоящихъ героевъ.

„О, вы, русскіе... золотыя у васъ сердца!“

говоритъ Инсаровъ, говоритъ съ удивленіемъ, съ недоумѣніемъ, потому что ему, состоятельному человѣку и герою, недоступна, совершенно непонятна та душевная высота, на которую могутъ подниматься несостоятельные русскіе Берсены и Шубины.

Вѣрой въ будущее Россіи проникнуть авторъ „Наканунъ“, и романъ этотъ, изобличающій недостатки родной земли, исполненъ горячей любовью къ родинѣ.

Отсюда двойственность, нѣкоторое непримиренное противорѣчіе въ отношеніяхъ Тургенева къ Еленѣ и къ Инсарову: онъ и сочувствуетъ имъ—и не сочувствуетъ, потому что и развѣнчиваетъ русскую жизнь—и вѣритъ въ нее, въ ея великое будущее.

А. Незеленовъ.

*) Высокое настроеніе, подъ вліяніемъ котораго было создано *Дворянское гнѣздо*, скоро уступило мѣсто новымъ, или казавшимся новыми, вѣяніямъ, появившимся на поверхности русской жизни—новой суетѣ этой жизни. Старую суету жизни побѣдилъ въ себѣ Тургеневъ, и эта побѣда ознаменовалась возвышеннымъ настроеніемъ его души, отразившимся въ *Фаустѣ* и въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*; новая суета подчинила его себѣ, въ ней, какъ и въ броженіи умовъ въ сороковыхъ годахъ, онъ увидѣлъ что-то серьезное, не временное, не преходящее, не симптомы болѣзни нашего историческаго роста и развитія, а самую сущность, движущую эти ростъ и развитіе.

Дѣйствительно, въ русской жизни возникало нѣчто новое, безконечно серьезное, наступалъ переломъ въ нашей исторіи, ознаменованный освобожденіемъ крестьянъ, выступало на историческую арену новое дѣйствующее лицо, значительное и для многихъ загадочное—народъ нашъ, до тѣхъ поръ лишь хранившій преемственное преданіе; но броженіе умовъ, начавшееся въ концѣ пятидесятихъ годовъ и не замершее еще до сихъ поръ, было, въ сущности, продолженіемъ такого же броженія сороковыхъ годовъ. Это броженіе умовъ было лишь сопровождающимъ явленіемъ, было лишь симптомомъ болѣзни роста, не болѣе. Въ самомъ дѣлѣ, много ли страницъ посвятить будущій историкъ эпохи, начиная съ шестидесятихъ годовъ, этому броженію умовъ, со всѣми его послѣдствіями, до политическихъ убійствъ и до 1 марта включительно; это ли броженіе умовъ станетъ центромъ его изслѣдованія? Конечно, нѣтъ. Если современники часто изъ за деревьевъ не видятъ лѣса, если для нихъ вздымающіяся на поверхности волны заслоняютъ безбрежный океанъ, въ глубинѣ котораго царитъ все та же таинственная тишина и тогда, когда на поверхности бушуетъ буря, въ глубинѣ котораго совершается все та же таинственная и неспѣшная работа, какая бы зыбь и какая бы пѣна не вздымалась на поверхности—если такъ для современниковъ,

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Москва, 1894 г.

то не такъ для историка. Онъ знаетъ, что волны улягутся, что не въ нихъ сущность жизни океана, а грязную иѣну унесетъ теченіе. Онъ знаетъ, что когда наступитъ весна, и ледъ растаетъ, побѣгутъ грязные потоки, оглушая воздухъ своимъ шумомъ,—но знаетъ также, что скоро эти грязные потоки исчезнутъ, освѣженная земля зазеленѣетъ, и тихія воды снова сверкнутъ своею чистою прозрачностью. И зная это, онъ отведетъ надлежащее мѣсто общественному броженію эпохи отъ шестидесятыхъ до восьмидесятыхъ годовъ, онъ увидитъ въ этомъ броженіи только одинъ изъ симптомовъ болѣзни историческаго роста.

Начавшаяся суета русской жизни повліяла и на Тургенева. Это тотчасъ же отразилось на его творчествѣ. Онъ создастъ романъ *Наканунъ*, уже наполненный этою суетой. *Дворянское гнѣздо* появилось въ 1858 году, *Наканунъ* — въ 1859. Это очень короткій срокъ, — но между настроеніемъ Тургенева, выразившимся въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, и настроеніемъ, выразившимся въ *Наканунѣ*—цѣлая бездна. Тутъ не въ томъ дѣло, что въ *Дворянскомъ гнѣздѣ* онъ рисовалъ картину вѣками сложившагося быта, а въ *Наканунѣ* желалъ изобразить только-что нарождающееся, новое; въ изображеніи этого новаго должно было бы отразиться то же настроеніе, какое отразилось въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, если бъ это настроеніе не было *только*, настроеніемъ, а возвысилось бы на степень осмысленнаго міросозерпанія. Этого не случилось, и потому Тургеневъ пишетъ *Наканунъ* уже въ совершенно новомъ настроеніи.

Возвышенное настроеніе души отразилось хотя несовершеннымъ, но возвышеннымъ произведеніемъ, новое настроеніе, очень мелкое и поверхностное, отразилось и произведеніемъ поверхностнымъ и неопредѣленнымъ. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ самъ былъ захваченъ потокомъ новаго умственнаго броженія, подъ вліяніемъ котораго создавалось его новое настроеніе, и уже, конечно, нельзя было уловить существенныя черты этого броженія, отнести *къ нему* правильно, самому находясь въ состояніи подобнаго же броженія.

Самое заглавіе -- *Наканунъ* показываетъ, что отъ русской жизни ожидалось что-то совершенно новое, что старое, на примѣръ, Лиза, считалось уже отжившимъ — такъ поняли это дѣло и въ обществѣ. Выразитель тогдашнихъ общественныхъ настроеній, Добролюбовъ, по поводу *Наканунъ* написалъ статью: *Когда же наступитъ настоящій день?* Въ этой статьѣ говорилось, что настоящій день наступитъ, когда русское общество, а въ особенности русскія дѣвицы совершенно эманципируются отъ всѣхъ „предразсудковъ“, даже отъ тѣхъ, которые еще сохранила Елена. Самъ Тургеневъ смѣтрѣлъ на Елену какъ на явленіе новое; Болгаринъ же Инсаровъ уже былъ потому новъ, что онъ Болгаринъ. Въ своей литературной автобіографіи Тургеневъ, между прочимъ, говоритъ коснувшись *Наканунъ*: „Фигура главной героини Елены, *тогда еще новаго типа въ русской жизни*, довольно ясно обрисовывалась въ моемъ воображеніи“. Но это не былъ новый типъ, не только въ русской жизни, но даже и въ русской литературѣ — не говоря уже о французской. Въ романахъ Жоржъ-Санда, такъ усердно читавшихся и у насъ, давно уже выводился подобный типъ — и быть-можетъ не безъ вліянія Жоржъ-Санда, этотъ женскій типъ сформировался и въ русской жизни, со своеобразною, конечно, окраской и со своеобразными очертаніями. Но и въ русской литературѣ этотъ типъ былъ не новый: онъ появлялся въ произведеніяхъ самого Тургенева. Существенныя черты женщинъ и дѣвушекъ этого типа заключаются, по свидѣтельству самого Тургенева (*Литературная Автобіографія*), „въ смутномъ, хотя сильномъ стремленіи къ свободѣ“ и въ исканіи „героя“, которому бы дѣвица или дама „могла предаться“.

И ту и другую черту мы уже находимъ въ *комическихъ* женскихъ типахъ, выведенныхъ Тургеневымъ. Эти черты мы находимъ, на примѣръ, въ дѣвицѣ Эмеренціи или Эмерансъ изъ повѣсти *Два Пріятели*. Эта дѣвица Эмеранція, какъ и Елена, имѣетъ склонности вести съ кавалерами разговоры о предметахъ возвышенныхъ, свое „смутное стремленіе къ свободѣ“ она выражаетъ тѣмъ, что *поты-*

хоньку отъ родителей завела „шуры-муры“, какъ говорятъ Гоголевскія дамы, съ нѣкоторымъ Валентиномъ. „Этотъ Валентинъ“, замѣчаетъ авторъ, „былъ учитель въ губернской гимназiи. Въ городѣ пускался онъ во всѣ тяжкія, а въ деревнѣ вздыхалъ по Эмеранціи платонически и безнадежно“. Эмеранція точно также искала „героя“ и нашла его въ лицѣ Валентина. „Вчера былъ у насъ новый гость, Вязовнинъ“, писала она подругѣ. — „Онъ очень милый и любезный человѣкъ, сейчасъ видно, что очень образованный, и—сказать тебѣ на ушко?—мнѣ сдается, я произвела на него довольно сильное впечатлѣніе. Но не безпокойся, mon amie: мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего“.

Конечно; дѣвица Эмеранція сюсюкаетъ и припрыгиваетъ, она коверкаетъ французскія слова, она совершенно необразована и дурно воспитана; конечно, у нея Валентинъ, а у Елены „герой“, намѣревающийся спасти свою родину; но записка Эмеранціи, право же, напоминаетъ своимъ тономъ инныя мѣста изъ дневника Елены. Конечно, Елена не писала такихъ пошлостей, но мы говоримъ не о содержаніи, а о тонѣ. Но... но даже если говорить о тонѣ, то и здѣсь врядъ ли мы найдемъ большое различіе. Припомните весьма патетическую сцену между Инсаровымъ и Еленой, когда она тайно посѣщаетъ его квартиру.

„А, ты хотѣлъ убѣжать отъ меня! говорить она. — *Тебѣ не нужно было русской любви, Бомарз?* Посмотримъ, какъ ты теперь отъ меня отдѣлаешься!“

Это стоитъ Эмеранціи...

Но продолжимъ наши поиски. Одну предвозвѣстницу Елены мы нашли—а вотъ другая. Въ той же повѣсти *Два Пріятели* мы встрѣчаемся съ молодой вдовой Софьей Кирилловной Заднѣпровской, которую простодушный Петръ Васильевичъ называетъ „эманципе“. Софья Кирилловна такъ же стремится къ свободѣ, такъ же отыскиваетъ „героя“, достойнаго ея, такъ же неудовлетворена окружающею дѣйствительностью. Будучи вдовой, а не дѣвицей, *она и высказывается гораздо свободнѣе. Она жалуется на*

окружающее ее общество. „Да“, говоритъ она съ негодованіемъ, „все, что выходитъ изъ-подъ общаго уровня, все, что нарушаетъ законы какого-то выдуманнаго приличія, подвергается здѣсь строжайшему осужденію“. Она, подобно Еленѣ, задаетъ „вопросы своей судьбѣ“, какъ она выражается. Затѣмъ, высказывая свои стремленія къ свободѣ, „Софья Кирилловна сильно возстала противъ брака“—и заключила свою филиппику слѣдующими словами: „Что можетъ быть для женщины дороже свободы—свободы мыслей, чувствъ, поступковъ!“

Мы находимъ и еще одну предвозвѣстницу Еленѣ въ разсказѣ Тургенева *Татьяна Борисовна и ея племянникъ*. У одного сосѣда Татьяны Борисовны, „хорошаго и смирнаго молодого человѣка, была сестра, дѣвица лѣтъ тридцати восьми съ половиной, существо добрѣйшее, но исковерканное, натянутое, восторженное“. Эта-то дѣвица чуть было не уморила Татьяну Борисовну своею восторженностью, и уморила бы—„если бы не влюбилась въ молодого, прѣзжаго студента, съ которымъ тотчасъ же вступила въ дѣятельную и жаркую переписку; въ посланіяхъ своихъ она, какъ водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила „всю себя“ въ жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась въ описаніе природы, упоминала о Гёте, Шиллерѣ, Беттинѣ и нѣмецкой философіи—и довела, наконецъ, бѣднаго юношу до мрачнаго отчаянія“.

Скажутъ, что ужъ нѣтъ ничего общаго съ Еленой. Нѣтъ, много общаго. Это разновидность того же типа: это Елена въ пожилыхъ годахъ, и при томъ Елена не красивая, не изящная, которой, по этому случаю, не удалось „предаться“ какому-нибудь „герою“. Эта дѣвица была добрѣйшее существо, Елена не добра, но основныя черты типа тѣ же: та же исковерканность, натянутость, восторженность, и тотъ же эгоизмъ, которому не мѣшаетъ добродушіе.

Надо всѣми этими провозвѣстницами Елены Тургеневъ смѣялся: онъ выставлялъ ихъ въ комическомъ свѣтѣ, опи-

сывалъ ихъ съ тонкимъ юморомъ, а иныхъ съ пренебрежительною ироніей и съ злымъ сарказмомъ—но не даромъ говоритъ пословица: „Чему посмѣешься, тому и послужишь“. И Тургеневу пришлось послужить тому, надъ чѣмъ онъ смѣялся. Какъ только тѣ же лица предстали предъ нимъ съ иными внѣшними чертами, въ видѣ дѣвицъ красивыхъ и изящныхъ, хорошо выдержанныхъ и прекрасно воспитанныхъ, которыя при томъ и гораздо умнѣе своихъ рѣшительно глупенькихъ провозвѣстницъ, такъ Тургеневъ въ этихъ красивыхъ и изящныхъ дѣвицахъ не разсмотрѣлъ столъ хорошо знакомыя ему черты. Онъ отнесся къ этимъ красивымъ и изящнымъ дѣвицамъ серьезно, безъ ироніи, онъ увидѣлъ въ нихъ явленіе не комическое, а серьезное, и не только серьезное, но героическое,—увидѣлъ въ нихъ новый типъ. Дѣло началось съ Натальи въ *Рудинъ*. Это—ближайшая предвозвѣстница Елены.

Ю. Николаевъ.

Дѣйствующія лица „Наканунъ“ въ отдѣльности.

Е л е н а.

*) Удивительная, славная дѣвушка эта Елена, выросшая, подобно героинѣ „Дворянскаго гнѣзда“, Богъ знаетъ на какой почвѣ, въ какомъ семействѣ, уродившаяся ни въ мать ни въ отца. Подобныя явленія только на Руси бывають, и мы не знаемъ какъ и объяснить ихъ. Отецъ — пустѣйшій и вздорный болтунъ, забывающій жену для вдовы нѣмецкаго происхожденія, домъ — для клуба. Мать, всегда склонная къ волненію и грусти, всегда больная и капризная, съ пансіонскими мечтами на старости лѣтъ (Шубинъ называетъ ее курицей), еще меньше отца могла имѣть вліяніе на развитіе дочери. Оставленная на свободѣ, она развернулась роскошнымъ поэтическимъ цвѣткомъ, созданіемъ воль-

нымъ и полнымъ, и не ея вина, если она охладѣла и къ отцу и къ матери. Впечатлѣнія ложилась глубоко къ ней въ душу. „Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала, требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея“. Безъ подругъ и безъ этой пошлой обстановки, которая дѣлаетъ русскую дѣвушку „барышней“, нарядной куклой, а жизнь ея мелкою и ничтожною, она жаждала не нарядовъ и праздниковъ, какъ всѣ, а дѣятельнаго добра; нищія, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Всѣ притѣсненныя животныя, находили въ ней покровительство и защиту. На десятомъ году она познакомилась съ нищей дѣвочкой Катей и прислушивалась къ ея рассказамъ, и потомъ хотѣлось ей надѣть сумку, убѣжать съ Катей и скитаться по дорогамъ. Безъ внѣшняго шума, безъ внѣшнихъ волненій, жизнь ея перегорала во внутренней тревогѣ, одинокою, никому не слышною борьбою. „Ея душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась.... Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ. Какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній“...

Елена стоитъ уже ступенью выше Лизаветы Михайловны въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“; она не нашла себѣ выхода въ томъ квіетизмѣ, въ томъ византійскомъ міросозерцаніи, которымъ удовлетворялась героиня „Дворянскаго гнѣзда“; она ждала чего-то, жаждала, мучилась и страдала, плакала недоумѣвающими, но жгучими слезами. Такою является она передъ нами, когда встрѣча съ Инсаровымъ, на дачѣ въ Кунцевѣ, рѣшаетъ ея участь и опредѣляетъ окончательно ея жизнь.

Отрывки изъ дневника Елены указываютъ намъ то состояніе ея души, когда она познакомилась съ Инсаровымъ.

Состояніе это—дѣвушки, развитой духовно, которой только любовь даетъ послѣднее опредѣленіе. Все окружающее ее такъ пошло и ничтожно; привязаться ей не къ кому. Оттого у ней нѣтъ покоя, оттого ей грустно и томно, такъ что она завидуетъ пролетающимъ птицамъ. Ей некому протянуть руки; она спрашиваетъ себя, зачѣмъ у ней эта молодость, эта душа, зачѣмъ живетъ она. „Пошла бы куда-нибудь въ служанки, право: мнѣ было бы легче“, пишетъ она. Какъ могла бы она полюбить, какимъ бы могучимъ счастіемъ окружила она человѣка, избраннаго душой ея. Она никогда не мыслила, не чувствовала въ половину. И вотъ наступаетъ для нея этотъ періодъ блаженства, эта долгожданная, долго призываемая любовь, и русская литература обогатилась нѣсколькими страницами такого блестящаго описанія страсти, страницами полными роскоши молодого и свѣжаго чувства, полными волшебнаго обаянія любви, какія рѣдко случалось перечитывать намъ доселѣ. Весеннимъ благоуханіемъ вѣетъ со страницъ этихъ, и счастливо общество, въ которомъ посреди нестройныхъ звуковъ и формъ неяснившейся, полу-дикой дѣйствительности раздаются подобные гармоническіе звуки, возникаютъ такіе ясные, роскошные образы.

Кому же отдалась эта дѣвушка, эта чуткая душа, какъ называетъ ее Шубинъ, отдалась вполне и безраздѣльно? Кто этотъ счастливецъ, вырвавшій ее изъ пошлаго міра, ее окружающаго? Чѣмъ увлекъ онъ ее, чѣмъ соблазнилъ ее? Четырехъ молодыхъ людей выставляетъ авторъ претендентами сердца Елены. Каждый изъ нихъ и благороденъ, и чистъ, и достоинъ всякаго сердца женскаго, но одинъ изъ нихъ выше остальныхъ трехъ. Чѣмъ же онъ выше? Что это за новый идеалъ, волнующій сердце дѣвушки? Чѣмъ онъ достойнѣе остальныхъ извѣстныхъ и знакомыхъ намъ личностей, которыя не разъ г. Тургеневъ подвергалъ беспощадному анализу, гдѣ соединялась тонкая иронія съ грустнымъ сожалѣніемъ?

Изъ „Русскаго Слова“. Статья Н. К--аю.

*) По словамъ г. Авдѣева, Елена уже переступила за черту хозяйки, жены или любовницы; она полюбила Инсарова за то, что онъ былъ человѣкъ дѣла. „Она, продолжаетъ г. Авдѣевъ,—отдалась вполнѣ беззавѣтно не только ему, но и его дѣлу: когда Инсаровъ умираетъ—она слѣпо идетъ по пути, по которому онъ думалъ идти съ ней. Она не думаетъ о томъ, что этотъ путь ей совершенно теменъ, почти неизвѣстенъ, что она могла идти по немъ, только опираясь на опытную руку, и что есть другіе подобные пути болѣе ей сподручныя, близкіе, на которыхъ она могла бы дѣйствовать самостоятельнѣе и сознательнѣе: она остается слѣпо вѣрна дѣлу своего возлюбленнаго, и вся отдается ему. Нужды нѣтъ, что мысль ея выражаемая не нова, что и сама Елена напоминаетъ намъ тѣхъ русскихъ женщинъ доонѣгинской эпохи, которыя оставили имена свои не въ литературѣ, лишенной возможности рисовать ихъ образы,—женщинъ, которыя тоже вырывались изъ узкой рамы хозяйки и любовницы, и шли за своими избранными далеко дальше теплыхъ стѣнъ семейной жизни. Образъ Елены является намъ отраднымъ явленіемъ уже потому, что, послѣ долгаго пути упадка и медленнаго возстановленія, мы видимъ русскую мысль снова на томъ уровнѣ развитія, до котораго она доходила во времена наиболѣе благопріятныя для ея развитія, что за этимъ переваломъ мы имѣли право надѣяться на дальнѣйшія и совершенно новыя въ русской жизни шаги женскаго развитія. И надежды эти оправдались: не даромъ романъ, въ которомъ явилась Елена, называется „Наканунъ“.

М. Авдѣевъ.

* * *

**) Если въ лицѣ Инсарова видимъ мы тутъ человѣка, уже прямо противоположнаго Рудну, то человѣкъ этотъ не русскій, а болгаринъ. Между тѣмъ Елена—русская,

*) „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

**) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ Тургенева“. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

она какъ бы первая изъ новаго поколѣнія русскихъ женщинъ, далеко опередившаго русскихъ мужчинъ. Какимъ путемъ, подъ какими впечатлѣніями и вліяніями, въ силу какой внутренней, самородной работы могла сложиться эта удивительная натура, этого, къ сожалѣнію, не касается нашъ сочинитель. Онъ просто говоритъ, что Елена уже съ самаго дѣтства „жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видѣла ихъ во снѣ... Всѣ притѣсненные животныя находили въ Еленѣ покровительство и защиту“... Вспомните ея нѣжную дружбу съ нищей дѣвочкой Катей. При такомъ направленіи совершенно понятно, что „одно чтеніе не удовлетворяло Елену“. Между тѣмъ самые умные люди вокругъ нея—не забудьте, что это было въ самомъ началѣ пятидесятихъ годовъ—еще вполне удовлетворялись чтеніемъ, однимъ только чтеніемъ. Не отъ того-ли Еленѣ и приходило иногда въ голову, что она „желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи“?...

О. Миллеръ.

* * *

*) Г. Тургеневъ принадлежитъ къ небольшому числу тѣхъ избранныхъ, чуткихъ натуръ, въ которыхъ находятъ себѣ живой отголосокъ всѣ лучшія стремленія развивающагося русскаго общества и въ которыхъ эти стремленія, даже едва-замѣтно пробивающіяся въ дѣйствительности, отражаются болѣе полными, болѣе яркими и послѣдовательными образами. Я не знаю, сдѣлаетъ-ли хоть одна изъ нашихъ дѣвицъ именно то, что дѣлаетъ Елена въ романѣ г. Тургенева, побѣжить-ли въ чужую сторону за какимъ-нибудь студентомъ освобождать Болгарію; но мысль, что назначеніе женской любви заключается въ томъ, чтобъ сочувствовать идеямъ любимаго человѣка и служить ему утѣшительной опорой на пути, ведущемъ къ избранной имъ.

*) П. Басистовъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

цѣли, эта мысль уже не исключительная фантазія немногихъ горячихъ головъ, но почти общее убѣжденіе всего молодого поколѣнія нашихъ женщинъ. По крайней мѣрѣ, серьезныя женщины не понимаютъ уже любви безъ раздѣленія принциповъ и убѣжденій того, кого любятъ. Та ступень общественнаго развитія, на которой для женщины въ будущемъ ея мужъ стояла на первомъ планѣ наружность, мундиръ, чинъ, богатство—уже пережита нами, и теперь осталась достояніемъ однихъ неразвитыхъ женщинъ; да и тѣ уже совѣстятся признаться явно, что онѣ идутъ замужъ за мундиръ, за деньги и т. п. Для того, чтобы стать подругой человѣка на всю жизнь, сдѣлалось необходимо нравственное побужденіе, душевное сочувствіе тому, что этотъ человѣкъ дѣлаетъ, для чего онъ живетъ. Но какъ скоро женщина пришла къ этому серьезному взгляду на замужество, она непременно придетъ и къ слѣдующему, болѣе общему и еще болѣе серьезному вопросу: *чему-же сочувствовать? для чего жить?* Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается для женщины въ личности того человѣка, котораго она, наконецъ, полюбитъ...

Въ Еленѣ Николаевнѣ Стаховой представляетъ намъ г. Тургеневъ именно такую дѣвушку, которой нравственные требованія уже не удовлетворяются тѣмъ, что даетъ русское общество въ его современномъ состояніи (дѣло идетъ о такъ-называемомъ образованномъ русскомъ обществѣ)... Наука, искусство, жизнь по Гегелю—повергаютъ себя поочередно къ стопамъ Елены; всѣ несутъ ей дань обожанія въ лицѣ, можно сказать, благороднѣйшихъ своихъ представителей: молодой художникъ Шубинъ, молодой ученый Берсенева, практикъ и юристъ Курнатовскій—одинъ за другимъ влюбляются въ Елену, и каждый изъ нихъ счелъ-бы счастливымъ, если бъ она согласилась быть его спутницей въ жизни. Но ей не нравится ни художникъ Шубинъ, ни ученый Берсенева, ни дѣлецъ Курнатовскій; она понимаетъ и цѣнитъ ихъ достоинства; Шубина и Берсенева даже любить, какъ братьевъ, но ни за одного изъ нихъ не пойдетъ: она чувствуетъ, что все это—не то, а между тѣмъ всѣ

они изъ лучшихъ, изъ передовыхъ людей нашего образованнаго общества. Шубинъ—скульпторъ, съ положительнымъ талантомъ, будущая извѣстность; *) Берсенева—скромный, прилежный молодой человекъ, будущій профессоръ исторіи; наконецъ, Курнатовскій—дѣльный секретарь въ сенатѣ, усердный, честный чиновникъ. Спрашивается: что же нужно Еленѣ, если ее не удовлетворяютъ ни наше искусство, ни наша наука, ни наша жизнь гражданская, являющіяся передъ ней—замѣтьте—въ лучшихъ своихъ представителяхъ или, по-крайней мѣрѣ, въ такихъ, которыхъ авторъ желалъ, чтобъ мы считали лучшими представителями современнаго общества? и почему все это ее не удовлетворяетъ?

Сначала Елена сама не могла понять, отчего это происходитъ. „Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ“, говоритъ за нее авторъ: „какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не мыслить въ цѣлой Россіи“. Но это смутное желаніе не складывалось въ опредѣленную мысль; ея мысли были ей самой неясны. Нужно, чтобъ явился человекъ, который бы удостоился ея сочувствія: тогда само-собою сдѣлалось бы яснымъ, почему она не могла сочувствовать всему тому, что не онъ.

Въ Россіи такого человека не оказалось. Только иностранецъ могъ показать Еленѣ, каковы должны быть настоящіе люди. Къ счастью, такой иностранецъ нашелся. Все то, что инстинктивно и смутно до сихъ-поръ только снилось Еленѣ, предстало передъ ней въ лицѣ Инсарова вылитымъ въ положительный образъ, и этотъ образъ приковалъ ее къ себѣ на вѣки. Что жъ такое *нашла* Елена особеннаго въ Инсаровѣ—такого, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи?

Ей понравилась *его прямота и непринужденность*; ей

*) Это еще вопросъ: желалъ-ли авторъ въ поверхностномъ Шубинѣ представить истиннаго художника?

понравилась *твердость его воли и упорное преслѣдованіе своей цѣли*; понравилась *самая цѣль—освобожденіе своей угнетенной родины, цѣль* простая, ясная; понравилось и то, что это была цѣль, поставленная не личнымъ капризомъ фантазіи, а общая Инсарову съ послѣднимъ мужикомъ, съ послѣднимъ нищимъ въ Болгаріи. Дѣятельность съ такой прекрасной цѣлью и должна была понравиться Еленѣ, потому что въ ней она увидѣла простое исполненіе той мечты, которая постоянно не давала ей покоя. „Съ дѣтскихъ лѣтъ (говоритъ г. Тургеневъ) она жаждала дѣятельности, дѣятельности добра“. Она воспитывала заброшенныхъ собакъ и кошекъ, подавала щедро милостыню, но все это казалось ей ничтожнымъ. Въ дневникѣ своемъ она писала: „О, еслибъ мнѣ кто-нибудь сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать. Быть доброю, этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?“ Въ Инсаровѣ Елена увидѣла, что надобно дѣлать и какъ. Инсаровъ отнялъ ее у Шубина, у Берсенева, у Курнатовскаго, у всей Россіи, и увлекъ ее за собой въ Болгарію... Она—центръ, около котораго вертятся всѣ пружины романа. На нее положилъ авторъ всего болѣе труда; ея личность постарался онъ отдѣлать съ наибольшей отчетливостью. Вездѣ *она* на первомъ планѣ. Мы знаемъ ея жизнь почти съ колыбели; мы видимъ, что было вложено въ нее натурой, что развилось первыми впечатлѣніями ея дѣтства, чему помогло развиваться отсутствіе воспитательной ферулы. Любовь къ правдѣ, общая всѣмъ дѣтямъ и заглушаемая только въ послѣдствіи всякими неправдами, сросшимися съ нашей перепорченной жизнью, растетъ въ Еленѣ передъ нашими глазами; тѣсно съ нею связанное отращиваніе ко всякой лжи, нестѣсняемое никакими одуряющими наставленіями; жизнь наединѣ съ собой, и вмѣстѣ съ нею вырабатывающійся серьезный взглядъ на жизнь; жажда жизни со смысломъ и инстинктивное угадыванье этого смысла—сначала только отрицательное, а потомъ, съ появленіемъ Инсарова, положительное, и, наконецъ, радостное успокоеніе въ любви къ человѣку, поставившему себя *задачей жизни* простое, но великое, народное дѣло къ чело-

вѣку, связанному съ своей землей и живущему только ея счастьемъ—вотъ въ короткихъ словахъ рамка той занимательной исторіи, которая составляетъ содержаніе романа.

Въ какомъ отношеніи Елена Стахова находится къ нашей русской дѣятельности? Возможны-ли въ ней теперь такія женщины? Иные говорятъ, что возможность созданія Елены въ поэзіи доказываетъ возможность такихъ женщинъ и въ дѣйствительной жизни. Это что-то хитро. Развѣ мы не видали въ нашей литературѣ идеаловъ, вычитанныхъ въ чужихъ литературахъ или выдуманныхъ разстроеннымъ воображеніемъ? Развѣ Улинька Гоголя мыслима въ дѣйствительности, а, вѣдь, создалась-же она у него какъ-то въ фантазіи. Впрочемъ, для Елены г. Тургенева не нужно прибѣгать ни къ игрѣ словъ ни къ натяжкамъ. Что идеалъ нашего поколѣнія—гражданинъ своей земли, это было высказано не разъ и прежде г. Тургенева, а такъ какъ среди всякаго поколѣнія мужчинъ непремѣнно есть женщины, на столько развитыя, чтобъ сочувствовать его идеалу, то возможность становится понятна сама собою.

Несомнѣнно то, что такая женщина, какъ Елена, въ первый разъ является въ нашей литературѣ. Любовь Елены—это самое чистое, самое благородное проявленіе чувства любви, какое только мы можемъ себѣ представить. Это — полная, глубокая преданность любимому человѣку, полное раздѣленіе его надеждъ и стремленій, это бракъ въ истинномъ смыслѣ слова...

Проникнуться сознательнымъ уваженіемъ къ идеѣ, потомъ полюбить эту идею сердцемъ, встрѣтивъ ея олицетвореніе въ живомъ человѣкѣ, и, соединивъ свою судьбу съ судьбой этого человѣка, идти во слѣдъ за нимъ, куда поведетъ его эта идея, раздѣляя съ нимъ всѣ бури и невзгоды — да это такъ возвышенно, такъ нравственно, что могло быть поставленно за образецъ и основаніе всякому браку.

Къ сожалѣнію, проявленіе этой высокой любви такъ же *мало развито на дѣлѣ*, какъ проявленіе патріотическихъ *плановъ самого Инсарова*. Г. Тургеневъ, какъ будто на-

рочно избѣгаетъ той минуты, когда его героямъ настаетъ пора дѣйствовать и приводить въ исполненіе то, о чемъ они такъ прекрасно говорятъ. Конечно, Елена дѣлаетъ рѣшительный шагъ, когда высказываетъ готовность бѣжать съ Инсаровымъ, и—если бъ она это сдѣлала—мы, можетъ быть, имѣли-бы случай посмотрѣть, какъ-бы она „тамъ, между чужими, стала отставать отъ своихъ привычекъ, работать“ и такъ далѣе. Но авторъ улаживаетъ все это проще: родители Елены узнаютъ, что она тайно обвѣнчалась съ Инсаровымъ и, послѣ обычныхъ упрековъ, дѣло оканчивается благополучно. Мать снабжаетъ Елену деньгами, и Инсаровы путешествуютъ въ удовольствіи и спокойствіи, катаются въ гондолѣ, ѣздятъ въ театръ и т. п. Труды, лишенія, борьба—все это осталось на словахъ.

Жизнь—дѣло грубое, а талантъ г. Тургенева въ высшей степени деликатенъ, и притомъ онъ по преимуществу лирический. Его дѣло—внутренній міръ души, тонкій анализъ чувствованій, красоты природы. И г. Тургеневъ знаетъ, въ чемъ его сила. Уклоненіе отъ всякихъ сценъ, гдѣ должна выйти на арену борьба живыхъ силъ, это намѣренное уклоненіе, замѣчаемое не въ одномъ „Наканунѣ“, но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, есть не ошибка съ его стороны, а признакъ глубокаго художническаго такта.

П. Басистовъ.

* * *

*) Въ „Наканунѣ“ главное лицо—Елена. Въ ней сказалась та смутная тоска по чемъ-то, та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новыхъ людей, которая охватываетъ теперь все русское общество, и даже не одно только такъ называемое образованное... Сочувствіе Елены, такой дѣвушки, какъ мы ее понимаемъ, не могло обратиться на русскаго человѣка съ тѣмъ правомъ, съ той естественностію, какъ обратилось оно на

*) Н. Добролюбовъ. „Современникъ“ 1860 г., № 3. Также Сочиненія Добролюбова, т. 3.

этого болгара. Все обаяніе Инсарова заключается въ величіи и святости той идеи, которою проникнуто все его существо. Елена, жаждущая дѣятельнаго добра, но не знающая, какъ его дѣлать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказомъ о его замыслахъ. „Освободить свою родину, говорить она:—эти слова и выговаривать страшно—такъ они велики!“ И она чувствуетъ, что слово ея сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цѣли нельзя поставить себѣ, и что на всю жизнь ея, на всю ея будущность достанетъ дѣятельнаго содержанія, если только она пойдетъ за этимъ человѣкомъ...

По тому, какъ задуманъ характеръ Елены, — она представляетъ явленіе исключительное, и если-бы на самомъ дѣлѣ она являлась вездѣ выразительницею своихъ воззрѣній и стремленій,—она-бы оказалась чуждою русскому обществу и не имѣла-бы для насъ такого смысла, какъ теперь. Она была-бы лицомъ сочиненнымъ, растеніемъ, неудачно пересаженнымъ на нашу почву откуда-нибудь изъ другой земли. Но вѣрное чутье дѣйствительности не позволило г. Тургеневу придать своей героинѣ полного соотвѣтствія практической дѣятельности съ теоретическими ея понятіями и внутренними порывами души... Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ-бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣла окружающей ее среды и проявить чѣмъ-нибудь свое вліяніе. Мы не думаемъ, чтобъ это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды... Впрочемъ, безсилію Елены приданъ въ повѣсти особенный мотивъ, вытекающій изъ ея женственнаго, гуманнаго чувства: она боится всякихъ столкновеній,—не по недостатку мужества, а изъ опасенія нанести кому-нибудь оскорбленіе и вредъ.

Н. Добролюбовъ.

*) Елена раздражена мелкою тѣхъ людей и интересовъ, съ которыми ей приходится имѣть дѣло каждый день. Она умнѣ своей матери, умнѣ и честнѣ и отца, умнѣ и глубже всѣхъ гувернантокъ, занимавшихся ея воспитаніемъ, она раздражена и не удовлетворена тѣмъ, что даетъ ей жизнь; она съ сознаннымъ негодованіемъ отвергается отъ дѣйствительности, но она слишкомъ молода и женственна, чтобы стать къ этой дѣйствительности въ трезвыя отрицательныя отношенія. Ея недовольство дѣйствительностью выражается въ томъ, что она ищетъ лучшаго, и, не находя этого лучшаго, уходитъ въ міръ фантазіи, начинаетъ жить воображеніемъ. Это болѣзненное состояніе; когда воображеніе забѣгаетъ впередъ, когда начинается сооруженіе идеала и потомъ бѣганіе за нимъ, тогда живыя силы уходятъ на безплодные поиски и попытки, и жизнь проходитъ въ какомъ-то тревожномъ безпредметномъ, смутномъ ожиданіи. Елена все мечтаетъ о *чемъ-то*, все хочетъ *что-то* сдѣлать, все ищетъ *какого-то* героя; мечты ея не приходятъ и не могутъ придти въ ясность, именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикуетъ нашей жизни, не всматривается въ ея недостатки, а просто отворачивается отъ нея и хочетъ выдумать себѣ жизнь... Я не осуждаю Елену въ томъ, что она мечтаетъ; я бы не осудилъ человѣка, схватившаго сильнѣйшій простудный кашель, я бы сказалъ только, что онъ боленъ; точно также я говорю и доказываю самой Еленѣ, что она больна, и что она ошибается, если считаетъ себя здоровою. Въ этомъ отношеніи ошибается вмѣстѣ съ нею самъ Тургеневъ; онъ глазами психически больной Елены смотритъ на дѣйствующія лица своего романа; оттого онъ вмѣстѣ съ Еленою ищетъ героевъ; оттого онъ вмѣстѣ съ нею бракуетъ Шубина и Берсенева; оттого онъ выписываетъ изъ Болгаріи невозможнаго и ни на что не нужнаго Инсарова. Елена и, вмѣстѣ съ нею, Тургеневъ не удовлетворяются обыкновенными, человѣческими размѣ-

*) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г., № 12. Также сочиненія Писарева.

рами личностей; все это мелко, все это обыкновенно, все это пошло, давай имъ аффекта, колоссальности, героизма. Жить скверно, говорятъ Тургеневъ и Елена; согласенъ; жить скверно потому, что люди скверны; несогласенъ! Отношенія между людьми ненормальны, это такъ, а люди ни въ чемъ не виноваты, потому что передѣлать отношенія, затвердѣвшія отъ десяти-вѣковой исторической жизни, и передѣлать ихъ тогда, когда еще очень не многіе начали сознавать ихъ неудобства—это, воля ваша, мудрено. Если несется шестерня бѣшеныхъ лошадей, то я никакъ не рѣшусь называть мелкими трусами всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ уклоняться въ сторону и давать имъ дорогу. Инстинктъ самосохраненія и трусость—двѣ вещи разныя. Ставить самоотверженіе въ число необходимыхъ добродѣтелей, обязательныхъ для всякаго человѣка, можетъ только мечтательная дѣвушка Елена Николаевна Стахова, да замечтавшійся до забвенія дѣйствительности художникъ, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Д. Писаревъ.

*
* *

*) Повѣстью „Наканунъ“ восхищались не со стороны эстетической, а по сочувствію къ героинѣ повѣсти. Елена выразила собою, говорили женщины, ту жажду благотворной дѣятельности, которая снѣдаетъ проснувшееся общество. Русская женщина призвана стать во главѣ общественнаго движенія и вести за собою другихъ. Нѣкоторые даже замѣтили послѣ появленія повѣсти перемѣну въ своихъ знакомыхъ, у нихъ какъ то прибавилось гонору, они точно выросли на вершокъ.

Мы съ своей стороны совершенно согласны, что Елена прекрасно выразила собою черты современнаго движенія женщинъ, но движенія плохо осмысленнаго, не понятаго, движенія съ руками, полными всякимъ хламомъ. Мы это сейчасъ докажемъ. Въ ней восхищались болѣе всего го-

*) „Современникъ“ 1862 г., № 5. Статья А. О.

товностью покинуть семью и обеспеченную, спокойную жизнь, и промѣнять ее на трудную и безпокойную жизнь въ Болгаріи. Но въ этомъ еще нѣтъ ровно никакого геройства; это достоинство отрицательное. Она не видѣла любви къ себѣ въ домашнихъ, и ничто не привязывало ее къ отцу и матери, связь между ними была давно прервана, — скажемъ болѣе, ей становилось тяжело жить съ плаксою матерью и безпокойнымъ отцомъ. А впереди ей видѣлась жизнь съ любимымъ человекомъ. Промѣнять общество родныхъ на общество Инсарова можно было смѣло, не затрудняясь въ выборѣ. Эта рѣшимость, конечно, очень замѣчательная. На нее рѣшатся не всѣ, и пойти противъ обычая не всякая можетъ; но, вѣдь, и судъ неправый творятъ очень многіе, и не возводить же на пьедесталъ тѣхъ, кто не дѣлаетъ этого. Но въ этомъ шагѣ Елены есть еще другая сторона, въ немъ сказалась дѣятельная натура. Дѣйствительно, натура Елены была не изъ сонливыхъ—это доказываетъ ея рѣшимость оставить родительскій домъ, — но то-то и бѣда, что это энергія односторонняя, и что она разрѣшилась тѣмъ, что Елена кончила свое дѣятельное поприще въ Болгаріи сидѣлкою, сестрой милосердія. Такой исходъ можно было предвидѣть, если бъ хорошенько разсмотрѣть ея жизнь до встрѣчи съ Инсаровымъ. Она была добра, любила человека, какъ увѣряютъ нѣкоторые, въ ней кипѣла молодая кровь, — что же мѣшало ей, не ожидая долго героя Инсарова, заняться въ пользу тѣхъ, кто былъ подъ рукою. А дома было что дѣлать: тамъ Шубинъ чахъ отъ пустоты, тамъ Берсенева дѣлался суше да суше. Она часто видѣлась съ ними, пользовалась вѣсомъ въ ихъ глазахъ, и могла бы, если бъ умѣла да хотѣла, своимъ словомъ заставить Шубина всмотрѣться въ себя, научить Берсенева, что отъ его науки проку не будетъ, если онъ не выйдетъ изъ кабинета на свѣтъ Божій. А Елена, при всей своей любви къ человечеству, при всей жадности, сидѣла сложа руки, скучала, спасала мухъ отъ пауковъ, кормила кошекъ и отчасти злобствовала. Въ чемъ же тутъ проявилась дѣятельная натура Елены?

Мы не отнимаемъ у нея ни твердости характера ни стремленій, и видимъ очень хорошо, что Елена хотѣла дѣлать что-нибудь, что ей нужна была работа, что она отъ пауковъ кидалась къ нищенкѣ, а отъ нищенки къ Берсеневу. Да, вѣдь, это работа не осмыслена, сводится на экзальтацію. Но, наконецъ, Елена успокоилась, опредѣлила къ чему стремилась, увидѣла, что ей нужна дѣятельность болѣе разумная и полезная для братьевъ. Такъ; но развѣ Берсенева и Шубина не братья, и если въ Еленѣ были задатки любви къ человѣку вообще, то зачѣмъ же она оттолкнула отъ себя Шубина и постоянно глумилась надъ нимъ?

Люди, въ самомъ дѣлѣ желающіе добра своимъ братьямъ, не останавливаются за мелочностью проявленія любви. Цѣль жизни не мѣшаетъ работать по дорогѣ, гдѣ только можно и какъ только можно. Задать себѣ извѣстный урокъ и ждать, когда сложатся выгодныя для дѣла обстоятельства, не трудно, если въ это время не ворочать обстоятельствъ, не ускорять благопріятныхъ условій прихода. Елена не занималась Шубинымъ и не проявляла своей натуры до прихода Инсарова. Значитъ, любовь къ Инсарову побудила ее идти въ Болгарію. Не приди Инсаровъ, Елена такъ бы и жила въ Москвѣ, покровительствуя бѣднымъ кошечкамъ и мушкамъ, и не удовлетворила бы своихъ стремленій, потому что не нашла бы дѣятельности въ скромной обстановкѣ нашей незатѣливой жизни; она именно хотѣла оказать услугу, но не людямъ, а народу, и услугу притомъ громадную. Иначе зачѣмъ бы ей было ходить въ Болгарію; вѣдь, и у насъ тоже есть что дѣлать. Елена или не понимала, видно, этихъ явленій или, видя ихъ, не скорбѣла, и считала такую сферу дѣйствій нестоющею, и искала большаго. Она съ радостью бросилась за Инсаровымъ спасать его родину, его угнетенныхъ собратій. Здѣсь цѣль видна сразу, осязательна. Но умеръ Инсаровъ—и Елена уже не спасаетъ отечества, а спускается на степень доброй и заботливой сестры, ходящей за больными, дѣятельность которой не требуетъ большой кипучести натуры. Этотъ обо-

ротъ немного страненъ только на первый взглядъ, но онъ легко объясняется тѣмъ, что Елена любила Инсарова, а не людей, увлеклась его геройствомъ, и шла за нимъ все равно куда бы то ни было, на битву или на покой. Страстность и энергичность Елены была цѣликомъ отдана Инсарову, она шла за Инсаровымъ пассивно, и искать въ ней общественную дѣятельность не стоить. А между тѣмъ, общество нашло въ ней что-то фатальное, какъ выразилась бы Елена, величественное. Оно сочло Елену непотрѣшимымъ существомъ, и не хотѣло посмотрѣть ее поближе. Нѣкоторое превосходство Елены передъ другими закусило этихъ другихъ, подавило ихъ. Онѣ видѣли только, что она приняла участіе въ серьезномъ дѣлѣ, а какъ, по какому поводу?—этого не хотѣли видѣть.

Въ Еленѣ есть еще черта, какъ-то дурно гармонирующая съ искреннимъ и осмысленнымъ желаніемъ дѣлать дѣло. Она какъ-то щепетильна, пикантна, она не разсталась со взглядами барышень.

Вслушайтесь, напримѣръ, въ слѣдующія фразы Елены. Елена наслушалась рассказовъ Берсенева объ Инсаровѣ, и въ ея воображеніи нарисовался образъ человѣка, способнаго на такой великій подвигъ, какъ освобожденіе родины. На лицѣ его написано благородство и отвага, и, главное, онъ хорошъ собою. Встрѣтила она Инсарова и разочаровалась.

„Инсаровъ дѣйствительно произвелъ на Елену меньше впечатлѣнія, чѣмъ она сама ожидала, или, говоря точнѣе, онъ произвелъ на нее *не то впечатлѣніе, котораго ожидала она*. Ей понравилась его прямота и непринужденность,—и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, *спокойно твердое и обыденно-простое какъ-то не ладилось съ тѣмъ образомъ, который составилъ у нея въ головѣ отъ рассказовъ Берсенева*. Елена, сама того не подозрѣвая, ожидала чего то болѣе „фатальнаго“. Но, думала она, онъ сегодня говорилъ очень мало, я сама виновата, я не распрашивала его; подождемъ до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза. Она чувствовала, что

ей не преклониться передъ нимъ хотѣлось, а подать ему дружески руку, и она недоумѣвала: *не такими вообразала она себя людей, подобныхъ Инсарову, „героевъ“*. Разочарованіе это идетъ далѣе; оказывается, что у него вовсе нѣтъ изящныхъ манеръ.

„Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугалъ. И потомъ—*какое лицо зловѣщее, почти жестокое!* Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. *Стало быть, я его не понимала.* И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него! Онъ стыдился, я это чувствовала, *онъ меня стыдился.* Онъ мнѣ это сказалъ потомъ, въ каретѣ, въ темнотѣ, когда я старалась его разглядѣть и боялась его. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. *Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ?* Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ? А какъ начался этотъ день! Какъ мнѣ хорошо идти съ нимъ рядомъ, *даже молча...* Но я рада тому, что случилось. Видно, такъ слѣдовало“...

Она ждала, что такая личность поступить откровенно хорошо, что онъ не забудется въ обществѣ дамъ, совладаетъ съ собою, сдѣлаетъ все какъ нибудь политично, и, въ заключеніе, какъ рыцарь, предложитъ ей свою руку и заведетъ съ нею „пріятный“ разговоръ. И вдругъ злоба въ лицѣ, энергія выраженія, крутая расправа — совсѣмъ не хорошія манеры!

Разговоръ Елены съ Берсеневымъ объ отлучившемся Инсаровѣ еще лучше.

„Вообразите себя, началъ онъ съ принужденной улыбкой: —нашъ Инсаровъ пропалъ“.

— *Какъ пропалъ?* проговорила Елена.

— Пропалъ. Третьяго дня вечеромъ ушелъ куда-то, и съ тѣхъ поръ его нѣтъ.

— Онъ не сказалъ вамъ, куда онъ пошелъ?

— Нѣтъ.

Елена опустилась на стулъ.

— Онъ, вѣроятно, въ Москву отправился, промолвила она, стараясь казаться равнодушной и въ то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю, возразилъ Берсенева. — Онъ ушелъ не одинъ.

— Съ кѣмъ же?

— Къ нему третьяго дня, передъ обѣдомъ, явились два какихъ-то человѣка, должно быть, его соотечественники.

„— Болгары? почему вы это думаете?

„— А потому что, сколько я могъ разслышать, они говорили съ нимъ на языкѣ, мнѣ неизвѣстномъ, на славянскомъ... Вотъ вы все находите, Елена Николаевна, что въ Инсаровѣ таинственнаго мало: ужъ на что таинственнѣе этого посѣщенія? Представьте: вошли къ нему—и ну кричать и спорить, да такъ дико, злобно... И онъ кричалъ.

„— И онъ?

„— И онъ кричалъ на нихъ. Они какъ будто жаловались другъ на друга. И если бы вы взглянули на этихъ посѣтителей! Лица смуглая, широкоскулая, тупая, съ ястребиными носами, лѣтъ каждому за сорокъ, одѣты плохо, въ пыли, въ поту; съ виду ремесленники—не ремесленники, и не господа... Богъ знаетъ, что за люди.

„— И онъ съ ними отправился?

„— Съ ними. Накормилъ ихъ да ушелъ съ ними. Хозяйка мнѣ сказывала:—они вдвоемъ цѣлый огромный горшокъ каши съѣли. Такъ, говоритъ, въ перегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмѣхнулась.

„— Вы увидите, промолвила она:—*все это разрѣшится чѣмъ нибудь очень прозаическимъ.*

„— Дай Богъ! Только напрасно вы употребили это

слово. Въ Инсаровѣ нѣтъ ничего прозаическаго, хотя Шубинъ и увѣряетъ...

„—Шубинъ! перебила Елена и пожала плечомъ. — *Но сознайтесь, что эти два господина, жующіе кашу...*

„—И Ѳемистоклъ ѣлъ наканунѣ Саламинскаго сраженія, съ улыбкой замѣтилъ Берсенева.

„— Такъ; но за то на другой день и было сраженіе. А вы все-таки дайте мнѣ знать, когда онъ вернется, прибавила Елена и попыталась перемѣнить разговоръ, — но разговоръ не клеился“.

И такой образъ былъ причисленъ къ идеаламъ нашего времени, передъ нимъ поклонились; — эта черта многозначительная и лучше всякихъ разсужденій рисуетъ недостатки нашей современности. Въ самомъ дѣлѣ, литература указала женщинамъ, что онѣ имѣютъ одинаковыя съ мужчинами права жизни: онѣ вострепнулись, поднялись и оставились на Еленѣ. Этотъ неудачный выборъ показываетъ, что мы еще не совсѣмъ выяснили себя, зачѣмъ все это дѣлается, для чего служить эта дѣятельность, что, обратясь къ ней, онѣ дѣйствовали болѣе сердцемъ. Дисгармонія уже даетъ себя чувствовать, она позволяетъ принять дѣятельность Елены за идеальную, считать ее личностью, достойною подражанія. Женщины наши сочли, что Елена удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ вѣка, и жестоко ошиблись.

Изъ „Современника“. Статья А. О.

* * *

*) Основной матеріалъ для компановки образа Елены Тургеневъ заимствовалъ въ значительной мѣрѣ изъ литературныхъ источниковъ, можетъ быть, всего больше изъ романовъ Жоржъ Сандъ, и только формальную сторону этого матеріала взялъ изъ родной дѣйствительности. Вслѣдствіе этого фигура Елены гораздо менѣе жива и закончена, гораздо менѣе заключаетъ въ себѣ плоти и крови, чѣмъ

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева.“ Спб. 1884 г.

другіе женскіе типы въ его романахъ, напримѣръ, Наташа въ „Рудинѣ“, Марья Павловна въ „Затишьѣ“, Лиза и Варвара Павловна въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. И это выходитъ такъ, несмотря на то, что художникъ, очевидно, сосредоточилъ весь запасъ своихъ силъ, все свое великое искусство на обработку и возможно яркое и опредѣленное выясненіе и освѣщеніе образа Елены. Все, что только можетъ дать беллетристическая техника, пущено имъ въ ходъ: и біографическая характеристика, и дневникъ, и изобиліе страстныхъ романтическихъ эпизодовъ и, для оттъненія душевной глубины героини, рядомъ съ нею пустенькая фигура Зои. И однако, повторяю, Елена вытанцовывалась не совсѣмъ и ея обликъ, особенно съ самой существенной стороны—со стороны претензій на „дѣятельно-гражданское“ значеніе не достигъ живой опредѣленности. Это замѣтила въ свое время даже либеральная критика, этого не могла утаить она, несмотря на то, что утаиваніе въ писателѣ вещей, невыгодныхъ для подтвержденія ея стремленій, либеральной критикѣ было не въ диковинку: такое утаиваніе практиковалось ею очень часто и съ легкимъ сердцемъ. Какъ ни старается либеральная критика вознести Елену, но она невольно проговаривается, что Тургеневу не удалось придать своей героинѣ дѣятельность, сообразную съ ея внутренними теоретическими требованіями, и объясняетъ эту неудачу такъ: въ эпоху появленія романа „Наканунѣ“, „художественно создать“ такую дѣятельность было невозможно для русскаго писателя. „Не откуда было взять дѣятельности, и по неволѣ авторъ заставилъ свою героиню „дешевымъ образомъ“ проявлять свои высокія стремленія въ подачѣ милостыни, да въ спасеніи заброшенныхъ копытъ. За дѣятельность, требующую большого напряженія и борьбы, она и не умѣетъ взяться, и боится приняться... Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣло окружающей среды и проявить чѣмъ нибудь свое вліяніе“ *).

*) Добролюбовъ. „Когда же придетъ настоящій день“.

Либеральная критика, далѣе, старается объяснить очень хитро это отсутствіе дѣятельной силы въ героинѣ, по замыслу автора олицетворяющей русскую „гражданку“: „Мы не думаемъ, чтобы это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды. „Тутъ невозможно сохранить себя чистымъ — говорили они, — и притомъ вся эта среда такъ мелка и пошла, что лучше удалиться отъ нея въ сторону“. И они точно удалялись, не сдѣлавъ ни одной попытки для исправленія этой пошлой среды, и удаленіе ихъ считалось единственнымъ честнымъ выходомъ изъ ихъ положенія, и прославлялось какъ подвигъ“. Елена, видите ли, при всѣхъ своихъ гражданскихъ томленіяхъ и порываніяхъ, слѣдуетъ примѣру этихъ милыхъ гражданъ, и отъ этого ничѣмъ себя активно не проявляетъ. Но не говоря уже о томъ, что поэтъ, и притомъ самый „гражданскій“, справедливо заклеилъ логику „честныхъ“ господъ, не желавшихъ грязнить себя сношеніемъ съ средой, „логикой презрѣнной“, — героиня „Наканунъ“ по самой сущности своей, несмотря на „гражданскія“ претензіи и сочувствія угнетеннымъ щенкамъ и нищимъ дѣвушкамъ, ничего не умѣетъ дѣлать, кромѣ какъ „отдаваться“ то возвышеннымъ мечтамъ, то герою своихъ мечтаній. Съ этой стороны она вызываетъ невольную улыбку и заставляетъ припоминать ироническій отзывъ о ней ее родителя, московскаго клубнаго дворянина Николая Артемьевича Стахова, который говорилъ: „Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нея недовольно возвышенъ. Ея сердце такъ обширно, что обнимаетъ всю природу, до малѣйшаго таракана или лягушки, словомъ, все, за исключеніемъ родного отца. Ну, прекрасно, я это знаю, и ужъ не суюсь. Потому тутъ и нервы, и ученость, и паренье въ небеса“. Дѣйствительно, въ характерѣ Елены встрѣчается много такого, что, при обыкновенномъ, здоровомъ взглядѣ кажется нѣсколько смѣшнымъ. Если сопоставить неопредѣленность

активной стороны характера Елены, претензіи ея на подвиги съ самыми подвигами, то эта героиня оказывается не больше не меньше какъ обыкновенной барышней, нервическаго темперамента и мечтательнаго настроенія. Въ чемъ же, въ самомъ дѣлѣ, заключаются ея подвиги? Въ томъ, что она навязалась Инсарову, когда тотъ хотѣлъ уклониться отъ ея любви и при этомъ даже смѣшныя, ультра-романическія фразы откалывала въ родѣ: „А, ты хотѣлъ убѣждать отъ меня? Тебѣ не нужно было русской любви, болгаръ! Посмотримъ теперь, какъ ты отъ меня отдѣлешься!“ Или въ томъ, что она изъ родительскаго дома бѣгала тайкомъ къ этому болгару, пригласила „взять“ себя, несмотря на то, что болгаръ былъ боленъ, потомъ тайкомъ же обвинчалась съ нимъ и потомъ поѣхала съ мужемъ въ Болгарію? Но, вѣдь, и всякая иная барышня, безъ малѣйшей гражданской закваски, сумѣла бы совершить первый подвигъ, какъ, на примѣръ, у Тургенева же совершила его Ася; что же касается до послѣдняго подвига — сопутствія мужу въ страну, гдѣ происходитъ война, такъ мало ли самыхъ простоватыхъ супруговъ военныхъ докторовъ и интендантовъ сопутствовали своимъ супругамъ въ походахъ, и однакоже никто не провозглашалъ ихъ за это героинями-гражданками. Слѣдуетъ замѣтить еще вотъ что: несмотря на все искусство художника, приподнятость и дѣланность образа Елены сказывается въ нѣкоторомъ книжномъ фразерствѣ, вкладываемомъ въ ея уста авторомъ. Возьмите, на примѣръ, слѣдующія размышленія Елены: „О, Боже, зачѣмъ смерть, зачѣмъ разлука, болѣзнь, слезы? Или зачѣмъ эта красота, „это сладостное чувство надежды, зачѣмъ успокоительное сознаніе прочнаго убѣжища, неизмѣнной защиты, бессмертнаго покровительства? Что же значить это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только въ насъ, а внѣ насъ вѣчный холодъ и безмолвіе?“ Подобными книжно-философскими размышленіями можетъ проговариваться какая нибудь Жоржъ-Сандовская, или Шпильгагенская или Ауэрбаховская героиня; но въ устахъ русской героини подобная

фразы кажутся неестественными. По крайней мѣрѣ, у другихъ женскихъ лицъ, созданныхъ Тургеневымъ съ большей жизненностью и съ полнымъ отсутствіемъ тенденціозности и аффектаціи, такихъ фразъ не встрѣчается. Изъ указанныхъ фальшивыхъ чертъ въ характерѣ Елены мы можемъ вывести такое общее заключеніе: образъ этой російской гражданки былъ, такъ сказать, первой ласточкой, которая долженствовала, по замыслу художника, заявить о близости „гражданской“ весны въ развитіи нашей жизни. Ласточку по неволѣ пришлось Тургеневу вызвать изъ-за моря, т. е. слегка позанять ее изъ шедевровъ иностранной беллетристики, и только дать ей гнѣздо и обстановку русскую: на родной почвѣ ласточки тогда еще не водились.

В. Буренинъ.

* * *

*) Елена удивительное, странное явленіе тургеневскаго творчества, съ художественной точки зрѣнія. Это едва-ли не самый блѣдный рисунокъ во всей поэзіи великаго писателя. Вы не представите ее себѣ такъ ясно, какъ, напримѣръ, Лизу „Дворянскаго гнѣзда“, какъ Зою (въ „Наканунѣ“), какъ Рудина, какъ Берсенева, Шубина и другихъ: есть что-то не то недовершенное, не то выдуманное, а не созданное въ ея лицѣ. Но все могущество тургеневской поэзіи сказалось, однако, въ очеркѣ Елены: поэтъ придалъ ей живыя, реальныя чувства (вспомнимъ, напримѣръ, удивительно поэтическую сцену ея счастья, истоми счастья послѣ объясненія съ Инсаровымъ въ часовнѣ, и особенно самое это объясненіе; вспомнимъ ея слезы радости и успокоенія послѣ того, какъ Берсеньевъ сообщилъ ей, что опасность миновала для Инсарова, и т. д.); поэтъ придалъ ей жизненныя человѣческія мысли и порывы воли, — и мы вправѣ потому говорить и судить о ней, какъ о живомъ, реальномъ человѣкѣ...

Мы видимъ, такимъ образомъ, что главное свойство Елены,

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб 1895 г.

главная черта ея характера—стремленіе къ дѣятельности, жажда дѣла. Это начало инициативы и отличаетъ ее отъ Лизы „Дворянскаго гнѣзда“, отличаетъ, какъ кажется, выгодно, въ ея пользу.—Лиза стоитъ безусловно высоко, вся преданная религіозному идеалу: она одинаково полно живетъ и мыслью, и сердцемъ, и въ душѣ ея свѣтлая гармонія; но недостатокъ инициативы могъ сказаться страшно въ ея судьбѣ: не будь Лаврецкаго, и кто знаетъ—можетъ быть, она, кротко и терпимо относящаяся къ людямъ, вышла бы за Паншина и сокровища своей душевной чистоты и силы принесла бы въ жертву человѣку безъ сердца и безъ души; можетъ быть, конечно, Паншинъ поддался бы ея свѣтлому вліянію и переродился (что, впрочемъ, очень сомнительно); но даже въ этомъ счастливомъ случаѣ все-таки пришлось бы пожалѣть о недостойномъ примѣненіи великой нравственной силы.—Съ Еленой этого-бы не случилось.

Но есть въ Еленѣ другое, что заставило поэта развѣнчать ее, что, какъ ложь, отравило ея жизнь и убило ее, что ставитъ ее безконечно ниже Лизы.

Стремясь къ своему неясному, но заманчивому идеалу, всѣмъ сердцемъ желая дѣятельности, Елена инстинктивно ищетъ человѣка, который бы всей душою былъ преданъ дѣлу, вѣрилъ въ это дѣло и въ себя, и энергически шелъ къ цѣли, былъ-бы сильный человѣкъ, герой. Елена подала бы ему свою руку и пошла бы за нимъ.

Одно время мысль и сердце ея остановились на Берсенева, и она близка была къ тому, чтобы полюбить его. Шубинъ думаетъ (хотя она сама это отрицаетъ), что была прежде минута, когда и къ нему тяготѣло ея сердце. Но во всякомъ случаѣ она скоро разочаровалась въ обоихъ,—и вниманіе ея остановилось на Инсаровѣ. Онъ, съ его страстной идеей освобожденія родины, занялъ всю ея душу, и она его полюбила; а полюбивши, она рѣшилась твердо и неизмѣнно пойти за нимъ всюду, на жизнь и смерть. Она преклонилась передъ нимъ, потому что

„онъ лучше меня! (записала она въ дневникъ). Онъ спокоенъ, а я въ вѣчной тревогѣ; у него есть дорога, есть цѣль,—а я, куда я иду? гдѣ мое гнѣздо?“

Быстрая и рѣшительная, Елена сама первая открыла свою душу Инсарову, когда тотъ, по крайней простотѣ своего ума, хотѣлъ-было бѣжать отъ овладѣвшаго его сердцемъ чувства.—Я пойду за тобой, говоритъ она Инсарову...

Вѣрная своимъ словамъ и своему рѣшенію, Елена дѣйствительно идетъ за Инсаровымъ, идетъ съ нимъ „на дѣло“, разрывая со всѣмъ, чтó ей дорого, всѣмъ жертвуя тому, чтó считаетъ истиной.

Мы видѣли, какъ Шубинъ высоко ставитъ и ее и ея поступокъ въ разговорѣ съ Уваромъ Ивановичемъ. Высоту ея энергіи и твердости духа видимо признаетъ и поэтъ, рассказывая въ романѣ ходъ событій: ея замужество, ея отъѣздъ съ Инсаровымъ и жизнь за границей.

Но замѣчательно, что рядомъ съ этимъ Тургеневъ показываетъ намъ и нѣчто другое. Съ самой той минуты, какъ Елена, объяснившись съ Инсаровымъ, почувствовала себя счастливой, ее начали беспокоить укоры совѣсти. „Чтó-то кольнуло Елену“, когда она увидѣла мать впервые послѣ рѣшенія покинуть и родину и семью. Но на этотъ разъ счастье вполне одолѣло, и внутренняя тревога души не помрачила „стыдливаго торжества“ любящей и любимой дѣвушки, не помѣшала всему окружающему улыбаться ей и радостно ее привѣтствовать. — Черезъ нѣсколько дней совѣсть заговорила громче:

„Ей было тяжело (говоритъ поэтъ про свою героиню) сидѣть съ матерью, ничего не подозрѣвающей, выслушивать ее, отвѣчать ей, говорить съ ней—казалось Еленѣ чѣмъ-то преступнымъ, она чувствовала въ себѣ присутствіе какой-то фальши; она возмущалась... Уже ни ласковымъ, ни милымъ, ни даже сномъ не казалось ей все окружающее: оно какъ кошмаръ давило ей грудь неподвижнымъ, мертвеннымъ бременемъ; оно какъ будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотѣло... Ты, молъ, все-таки, наша. Даже ея бѣдные питомцы, угнетенные птицы и звѣри глядѣли на нее,—по крайней мѣрѣ, такъ чудилось ей,—недовѣрчиво и враждебно. Ей становилось совѣстно и стыдно своихъ чувствъ. Вѣдь, это все-таки мой домъ“, думала она, „моя семья, моя родина...“ Нѣтъ, это больше не твоя родина, не твоя семья,—твердила ей другой голосъ. Страхъ овладѣлъ ею, и она досадовала на свое малодушіе. Бѣда только начиналась, а ужъ она терала терпѣніе... То ли она общалась?“

Такъ боролась Елена съ своей совѣстью, такъ мучилась она ея упреками, упреками за то, что измѣняетъ родинѣ, покидая ее, измѣняетъ семьѣ, останавливается на недостойномъ человѣкѣ.

Но Елена подавила въ себѣ голосъ внутренней правды.— Подавила она въ себѣ и голосъ разума и добраго чувства, подсказывавшихъ ей сомнѣніе въ нравственной состоятельности Инсарова.—Мы видѣли, какъ еще раньше объясненія съ Инсаровымъ въ любви Елена смущалась присутствіемъ въ душѣ его ненависти и злобы. Но теперь она забыла все это, закрыла глаза на свои сомнѣнія и колебанія, — и вся, всею душой отдалась волнѣ нахлынувшаго чувства, жаждѣ дѣятельности во что-бы то ни стало, жаждѣ счастья.— Она не остановилась даже тогда, когда во второе посѣщеніе ею Инсарова передъ ней открылась новая для нея темная черта его характера, — преобладаніе въ немъ мутно-чувственного начала. Она упрямо продолжала идти по разѣ избранной дорогѣ, пожертвовавъ для этого и родиной, и семьей, и душевной чистотой своей.

Такія жертвы не обходятся даромъ, — и расплата не замедлила. Инсаровъ умираетъ за границей, въ Венеціи, не успѣвши попасть въ родную землю, не успѣвши привести въ исполненіе ни малѣйшаго изъ своихъ замысловъ, — и всѣ надежды Елены на дѣятельность разомъ рушатся.

Смерть Инсарова — не случайность, и геній великаго художника сказался въ этой преждевременной, повидимому, кончинѣ героя романа: по даннымъ своего характера Инсаровъ не могъ служить освобожденію своей родины: недостойныя руки недостойны были коснуться великаго дѣла.

Слишкомъ скоро Елена рѣшилась пойти за Инсаровымъ (точно такъ-же, какъ „слишкомъ скоро“, по словамъ поэта, произносила она судъ надъ людьми), грубо оборвала она связи съ родиной, слишкомъ быстро покончила съ своими сомнѣніями и колебаніями, съ голосомъ внутренней правды. Она хотѣла дѣятельности во что-бы то ни стало, не разбирая путей, — а дѣятельность можетъ быть благою и плодотворной только на нравственно-чистой основѣ. — Елена

все потеряла,—и она сама почувствовала тогда покаравшую ее руку Божью.

Инсаровъ еще не умеръ; но Елена уже начинаетъ понимать неизбежность смерти; и вотъ какія мысли тѣснятся въ ея головѣ:

„Неужели уже довольно? Я была счастлива, не однѣ только минуты, не часы, не цѣлые дни—нѣтъ, цѣлыя недѣли сряду. А съ какого права?“ (Ей стало страшно своего счастья).

„Но если это—наказаніе, подумала она опять, если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину?.. О, Боже, неужели мы такъ преступны! Неужели Ты, создавшій эту ночь, это небо, захочешь наказать насъ за то, что мы любили? А если такъ, если онъ виноватъ, если я виновата, — прибавила она съ невольнымъ порывомъ,—такъ дай ему, о Боже, дай намъ обоимъ умереть по крайней мѣрѣ честной, славной смертью—тамъ, на родныхъ его поляхъ, а не здѣсь, не въ этой глухой комнатѣ“.

„А горе бѣдной одинокой матери?“ спросила она себя и смутилась, и не нашла возраженій на свой вопросъ“.

Въ этихъ замѣчательныхъ словахъ, полныхъ внутренняго прозрѣнія, Елена намекаетъ между прочимъ и на незаслуженность своего счастья, т. е. она начинаетъ инстинктивно чувствовать, что пожертвовала родиной и семьей не только для дѣятельности, но и для своего эгоистическаго личнаго самоуслажденія. Гораздо яснѣе она высказываетъ то-же въ письмѣ къ матери:

„Я искала счастья (говоритъ она) — и найду, быть можетъ, смерть. Видно, такъ слѣдовало; видно, была вина...“

Она, которая прежде, до своего ложнаго шага, часто молитвы мѣшала съ упреками, теперь не дерзаетъ „вопросать Бога, зачѣмъ не пощадилъ, не пожалѣлъ...“ Въ ея душѣ не было упрековъ“, говоритъ поэтъ.

Впрочемъ, Елена не вполне смирилась, не вполне признала свою вину, и кончила тѣмъ, что не отреклась-таки отъ своего заблужденія. Въ письмѣ къ матери (завшей ее вернуться на родину) она послѣ приведенныхъ прекрасныхъ словъ раскаянія прибавила еще слова совсѣмъ другого рода:

„Простите мнѣ всѣ огорченія, которыя я причинила вамъ (писала она); это было не въ моей волѣ. А вернуться въ Россію — зачѣмъ? Чтѣ дѣлать въ Россіи?“

Елена упорно и настойчиво хочетъ продолжать неудавшееся дѣло Инсарова, хотя и признала, что и онъ и она сама недостойны приняться за это дѣло: она упорно не хочетъ загладить свою вину передъ родиной и семьей.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Если вывести Елену изъ окружающаго ее романческаго ореола, то чтѣ же отъ нея останется? Нервная барышня съ головой набитою „идеями“, почерпнутыми изъ романовъ и журнальныхъ статей, а потомъ несносная женщина, сущее наказаніе для мужа, для дѣтей, для всѣхъ окружающихъ. И. Тургеневская Елена хотя хорошо воспитана, выхолена, изящна, она — дворянская, барышня, но чтѣ сказать о многочисленныхъ Еленахъ, вышедшихъ изъ иного быта, вульгарныхъ, невоспитанныхъ, не сдержанныхъ? Съ этими уже, конечно, сущее наказаніе. Онѣ вѣчно суетятся, вѣчно „ищутъ исхода“, бросаются то въ социализмъ, то въ толстовщину, вѣчно отыскиваютъ „героевъ“, даже уже достигши сорокалѣтняго возраста и болѣе. Кому не знакомъ этотъ жалкій современный типъ? Вотъ во чтѣ выродилась романическая и изящная Елена. Выродилась она и въ литературѣ. Я уже не говорю о прогрессивныхъ романахъ, съ безчисленными повтореніями Елены, въ видѣ героини, но и самъ Тургеневъ показалъ намъ Елену въ иномъ свѣтѣ, въ лицѣ Маріанны изъ *Нови*. Основы характера сохранены тѣ же, но показана совершенно пустая барышня, въ которой, кромѣ мелочнаго тщеславія и эгоизма, ничего нѣтъ.

И вотъ въ этихъ то типахъ хотѣли видѣть проявленіе самостоятельности русской женщины. Но дѣло въ томъ, что именно въ этихъ Еленахъ нѣтъ ничего самостоятель-

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Москва 1894 г.

наго, что онѣ идутъ всегда по мужской указкѣ; ихъ душа такъ пуста, что ее во всякую минуту можно наполнить чѣмъ угодно: сегодня социализмомъ, завтра непротивленіемъ злу, а послѣ завтра еще чѣмъ-нибудь.

Въ *Наканунъ*, какъ и всегда, Тургеневъ ухватилъ дѣйствительно живой нервъ начинавшагося броженія, не давъ вѣрное изображеніе, освѣтилъ его невѣрнымъ, колеблющимся свѣтомъ — и отсюда возникло недоразумѣніе относительно дѣвушекъ и женщинъ подобнаго типа, которое существуетъ и до сихъ поръ.

Ю. Николаевъ.

И н с а р о в ъ.

*) Авторъ, очевидно, съ глубокою обдуманностію сдѣлалъ Инсарова не русскимъ, болгаромъ, выдѣливъ его совершенно изъ русской жизни.... А между тѣмъ онъ герой русской повѣсти, онъ вторгается въ русскую жизнь, имѣвшую до его появленія мирное, хоть и пошлое теченіе. Во имя какихъ принциповъ вторгается онъ въ эту жизнь? Во имя чего ставится онъ за идеалъ для подражанія русскимъ людямъ, какимъ, очевидно, хотѣлъ поставить его г. Тургеневъ? До сихъ поръ г. Тургеневъ самовластно, деспотически распоряжался со всѣми русскими характерами, которые дѣйствуютъ въ его разсказахъ, до сихъ поръ онъ становился всегда выше ихъ, смотрѣлъ на нихъ, какъ побѣдитель на побѣжденнаго. Одинъ только Инсаровъ — характеръ идеальный, возвышенный, конечно, выше всего его окружающаго, и авторъ не свободно стоитъ передъ нимъ. Неужели же онъ сдѣлалъ его идеальнымъ изъ уваженія къ чужому, чего нельзя передѣлать, съ чѣмъ нельзя поступить критически? Говорить и доказывать это значило бы оскорблять нашего автора. Цѣль его гораздо выше. Инсаровъ является героемъ въ русской повѣсти, какъ представитель общечеловѣческихъ началъ, того, что придаетъ

смыслъ жизни въ современности, что даетъ ей высшую санкцію. Упрекать автора въ томъ, что его повѣсть имѣетъ *направленіе*, что она написана съ задуманною идеею—мы не станемъ, да и критика уже давно не имѣетъ права на подобные упреки. Въ наше время нельзя ничего писать безъ живого отношенія къ современности; это воздухъ, въ которомъ мы всѣ живемъ, и мы не вѣримъ въ чистое искусство. Какъ бы могущественъ ни былъ талантъ, жизнь сильнѣе его, и очевидно, что Инсаровъ и его дѣятельность невольно просились въ повѣсть г. Тургенева. Это стонъ нашей жизни, то, чего жаждетъ она. Понятно, что г. Тургеневъ — талантъ чрезвычайно чуткій на пониманіе явленій общественныхъ и нашего развитія, томится тою же жаждою *новыхъ людей*, какою томится наше общество. И онъ, какъ и всѣ мыслящіе русскіе люди эпохи нами переживаемой, понимаетъ, чего не достаетъ русской жизни.... Если мы и видимъ, что въ послѣдніе, переживаемые нами годы русской жизни, началось что-то такое, что не похоже на старое, что предвѣщаетъ новую жизнь, гдѣ знакомые намъ характеры будутъ уже отверженцами, то и это новое, начинающееся, назначеніе котораго, есть борьба, не создало, да и не въ состояніи создать еще ни одного типа. Посмотрите, куда уходятъ лучшія силы. Въ борьбу, которой конца не видно, въ которой цѣли нѣтъ ясной и опредѣленной. Инсаровъ знаетъ, за что готовъ онъ сложить свою голову, знаетъ, съ чѣмъ и съ кѣмъ онъ идетъ на борьбу, а у насъ, съ болью сердечною признаться надобно, туманъ передъ глазами. Всѣ подвиги наши могутъ покуда ограничиваться шумихою словъ,—а на это мы были большіе мастера и прежде, —или представляться дѣтскими выходками. Нападаютъ на Инсарова за то, что лицо это не удовлетворяетъ насъ, и обвиняютъ въ томъ автора. Какъ болгаръ, онъ совершенно вѣренъ своему назначенію, своему призванію, но нашъ идеальный характеръ, нашъ дѣятель, долженъ принять иную форму. Совершенно справедливо, что Инсаровъ не удовлетворяетъ насъ русскихъ, но въ этомъ недостаткѣ виновать не та-

лантъ г. Тургенева, а сама жизнь, не успѣвшая или не могшая намъ дать своего Инсарова. Еще спорный вопросъ: молода или стара эта жизнь, но успокоимся на томъ мнѣніи, что жизнь эта еще молода и станемъ ждать, когда она дастъ намъ идеальнаго дѣателя. Его надобно ждать отъ жизни, а не отъ таланта; талантъ беретъ только у жизни...

Изъ дневника Елены мы видимъ, почему она предпочла Инсарова всѣмъ другимъ, почему ея сердце неотразимо было увлечено имъ. Это былъ первый встрѣченный ею въ жизни человѣкъ, *который не лжетъ*. Все остальное лгало кругомъ, начиная съ отца и матери, которыхъ двусмысленныя супружескія отношенія заставили лгать другъ другу, и кончая маленькой нѣмочкой Зоей. Изъ міра семейной и общественной лжи, изъ міра *сплошной лжи*, она въ первый разъ увидала истину въ человѣкѣ. Инсаровъ *не только говоритъ*, какъ говоритъ Шубинъ съ блестящей граціей, съ мѣткой ироніей, какъ говоритъ Берсенева съ глубокою мыслію, какъ прежде говорилъ Рудинъ, первый ораторъ тургеневскихъ разсказовъ, — *Инсаровъ дѣлалъ и будетъ дѣлать*. Этой гармоніи между словомъ и дѣломъ, между фактомъ и фразой нѣтъ ни у кого въ повѣсти, кромѣ него. Но больше всего она полюбила его за то, что у него есть цѣль жизни и цѣль близкая, осязаемая, что все существо его отдано этой цѣли.

„Русское Слово“. Статья Н. К—аю.

* * *

*) Въ эпоху Инсарова между молодыми людьми уже являлись не отвлеченные споры о конечномъ и безконечномъ, но произносились такія соединяющія слова, какъ родина, свобода, сираведливость. Мало того, являются люди, которые полагаютъ счастьемъ и цѣлью своей жизни служить идеямъ, представляемымъ этими словами, и такимъ

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

человѣкомъ является герой романа Инсаровъ. Послѣ Рудина, пропагандиста, человѣка слова, долженъ былъ явиться человѣкъ дѣла; Инсаровъ и есть такой человѣкъ. Онъ хочетъ свободы родины, и работаетъ всѣми отъ него зависящими средствами на освобожденіе родины отъ турецкаго ига: читатель знаетъ, что Инсаровъ былъ болгаръ. И такъ на сцену является уже настоящій политическій дѣятель. Онъ не русскій и не можетъ быть русскимъ, потому что такой дѣятель при нашей обстановкѣ невозможенъ; его задача — не наша задача; но появленіе его въ литературѣ доказываетъ, что въ развитой части общества явились стремленія повыше желанія покорять сердца сдающихся съ радостью, но только на законномъ основаніи, дѣвушекъ.

Инсаровъ бѣденъ, но расчетливъ и точенъ, какъ нѣмецъ: онъ никѣмъ не одоляется и въ бездѣлицахъ, и когда Берсенева предложилъ ему жить въ нанятой имъ дачѣ, Инсаровъ сначала отказывается, но потомъ, рассчитавъ сколько Берсенева приходится платить за каждую комнату, находитъ возможнымъ нанять одну, но отъ общаго обѣда отказался, потому что не въ состояніи обѣдать такъ, какъ Берсенева. Инсаровъ дѣятеленъ, но вся его дѣятельность безъ исключенія направлена на одну точку, на одну цѣль — родину. Онъ не служитъ ей какой-нибудь одной исключительной стороною, напримѣръ, какъ писатель, пропагандистъ, воинъ, — онъ дѣлаетъ для нея все, что можетъ: переводить съ болгарскаго на русскій, и съ русскаго на болгарскій, чтобы способствовать ознакомленію родины съ народомъ ей полезнымъ, составляетъ болгарскую грамматику, разбираетъ ссоры земляковъ, ведетъ переписку съ мѣстными дѣятелями, — словомъ, онъ весь въ своей Болгаріи, и когда говоритъ о ней, то совершенно преображается. „Не то, чтобы лицо его разгоралось или голосъ возвышался, — говоритъ авторъ, — нѣтъ, по все существо его будто крѣпло и стремилось впередъ, очертанія губъ обозначались рѣзче и неувимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажегся какой-то глухой, неугасимый огонь.

М. Авдеевъ.

*) Къ сожалѣнію, г. Тургеневъ не обрисовалъ этого героя въ такой полнотѣ, какая необходима была для того, чтобъ онъ и читателя увлекалъ такъ же, какъ увлекъ Елену. Мы видимъ въ немъ студента, намѣревающагося принять участіе въ возстаніи, которое готовилось въ Болгаріи, въ началѣ восточной войны — и только. Но какимъ образомъ онъ сталъ бы освобождать Болгарію, какія у него были средства и связи — ничего этого мы не видимъ. Елена, въ своемъ дневникѣ, пишетъ, что онъ разсказалъ ей „свои планы“; но какіе были эти планы — мы не знаемъ. Когда Инсаровъ сдѣлался боленъ, къ нему пришелъ Берсенева. Взоры его упали на столъ, покрытый грудой бумагъ. „Исполнить ли онъ свои замыслы? подумалъ Берсенева. Неужели все исчезнетъ?“ Но что такое было въ этихъ бумагахъ — опять неизвѣстно. Елена нашла у него письма. „Это письма изъ Болгаріи, сказалъ ей Инсаровъ: друзья мнѣ пишутъ, они меня зовутъ“ — и только. Изъ всѣхъ сношеній Инсарова съ болгарами, жившими въ Россіи, мы узнаемъ только, что одинъ разъ у него были два какіе-то человѣка, „лица смуглыя, широкосклыя, тупыя, съ ястребиными носами, лѣтъ каждому за сорокъ; одѣты плохо, въ пыли, въ поту“, и съѣли вдвоемъ цѣлый огромный горшокъ каши, и что съ ними Инсаровъ отправился въ Троицкій Посадъ, мирить какихъ-то земляковъ, которые не хотѣли платить другъ другу какія-то деньги. Если не считать гимнастическаго подвига съ пьянымъ нѣмцемъ въ Царицынѣ (мимоходомъ сказать, вовсе ненужнаго ни для освобожденія Болгаріи ни для усиленія любви Елены, и весьма-неловко напоминающаго гораздо-лучше мотивированный и болѣе демоническій подвигъ Печорина съ краснорожимъ господиномъ, съ длинными усами, ангажировавшимъ княжну Мери роуг mazure), то Инсаровъ ровно ничего не дѣлаетъ въ романѣ. Берсенева, заочно рекомендуя его Еленѣ, увѣрялъ ее, что „у него одна мысль — освобожденіе его родины, и Елена задумчиво промолвила: „освободить

*) П. Басистовъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

свою родину! Эти слова даже выговорить страшно — такъ они велики“... Конечно, велики; но эти слова такъ и остаются словами. Мы не видимъ ни одного шага, который бы подвинулъ насъ къ приведенію ихъ въ дѣло; мало того, г. Тургеневъ не потрудился указать намъ даже возможности приведенія ихъ въ дѣло Инсаровымъ. Намъ остается восхищаться голымъ принципомъ, прекраснымъ и возвышеннымъ, бесспорно, но все же отвлеченнымъ принципомъ, а не живымъ человѣкомъ. Все, что есть живого въ Инсаровѣ — его отношенія къ русскимъ и къ своимъ землякамъ, его занятія, его любовь къ Еленѣ — все это могло бы существовать и безъ этого принципа; а того, чѣмъ бы осуществлялся этотъ принципъ, мы въ Инсаровѣ не видимъ.

Эта личность осталась бы для насъ совершенно-непонятною, если бъ г. Тургеневъ не далъ намъ самъ ключа къ ней въ своей философской статьѣ о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ, напечатанной въ № 1 „Современника“ нынѣшняго же года, одновременно съ появленіемъ „Наканунъ“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Въ этой прекрасной статьѣ мы находимъ слѣдующее разсужденіе:

„Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, неизблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся *вне* отдѣльнаго человѣка, не легко ему дающуюся, требующую служенія и жертвъ, но доступную постоянству служенія и силѣ жертвы. Жить для себя, заботиться о себѣ Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма; онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе — оцѣните это слово! — онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки“.

Постоянное стремленіе къ одной и той же цѣли придаетъ нѣкоторое однообразіе его мыслямъ, односторонность его уму; онъ знаетъ мало, да ему и не нужно много знать: онъ знаетъ, въ чемъ его дѣло, зачѣмъ онъ живетъ на землѣ, а это — его главное знаніе“.

Далѣе:

„Простота его манеръ происходитъ отъ отсутствія того, что мы бы рѣшились назвать не самолюбіемъ, а *самомнѣніемъ*; Донъ-Кихотъ не занятъ собою и, уважая себя и другихъ, не думаетъ рисоваться“.

И далѣе:

„Кто, жертвуя собою, вздумалъ бы сперва разсчитывать и взвѣшивать всѣ послѣдствія, всю вѣроятность пользы своего поступка, тотъ едва-ли способенъ на самопожертвованіе“.

То же самое находимъ мы высказаннымъ объ Инсаровѣ въ разныхъ мѣстахъ „Наканунъ“. Когда Берсенева сталъ толковать съ нимъ о Фейербахѣ, то „изъ возраженій его (говоритъ г. Тургеневъ) видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ или же можно обойтись безъ него“. — „Онъ плохо говоритъ по-французски и не стыдится“, пишетъ о немъ Елена въ своемъ дневникѣ. „Мнѣ кажется, что у Дмитрія (говоритъ о немъ она же) оттого ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тотъ ужъ ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу; *то* хочеть“. „Ты *втришъ*—говоритъ она-же въ письмѣ къ Инсарову о представленномъ ей женихѣ, Курнатовскомъ: а тотъ нѣтъ, потому что только въ самого себя *втришъ* нельзя“.

Итакъ, другіе *говорятъ* объ Инсаровѣ то-же самое, что самъ г. Тургеневъ говоритъ о Донъ-Кихотѣ: жаль только, что Инсаровъ самъ за себя ничѣмъ не говоритъ, какъ-бы слѣдовало ожидать отъ живого лица. Что-жъ такое этотъ Инсаровъ? Отвлеченная идея донъ-кихотства, въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, окрещенная славянскою фамиліей, но, при всемъ томъ, оставшаяся отвлеченной, какъ созданіе мышленія, а не фантазіи.

Дѣло Инсарова имѣетъ двѣ стороны: одну—временную, другую—вѣчную; другими словами: въ немъ есть форма и *идея*. Временную сторону, или форму, составляетъ мысль *объ освобожденіи* угнетенной родины; сущность не въ томъ.

Если бы дѣло было только въ томъ, чтобъ изобразить намъ человѣка, въ минуту общей опасности поднимающагося на общее дѣло и жертвующаго этому дѣлу всего себя безраздѣльно, въ такомъ случаѣ можно-бы найти образцы и у насъ, въ Россіи: стоитъ вспомнить 1612 годъ съ тогдашнимъ нашимъ Инсаровымъ—мѣщаниномъ Мининымъ. Если бы г. Тургеневъ только въ этомъ смыслѣ хотѣлъ намъ показать Инсарова, то его романъ былъ бы не болѣе, какъ исправленный „Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году“.

Но, вѣдь, такіе случаи, которые вызываютъ на дѣло весь народъ и даютъ возможность являться героямъ, встрѣчаются не всякій день въ народной жизни. Всенародныя событія начинаются и кончаются, а между тѣмъ жизнь народа продолжаетъ идти своимъ чередомъ, слагаясь не изъ подвиговъ, а изъ мелкихъ дѣлъ каждого. Вѣдь, и Инсаровъ—положимъ, что ему удалось-бы освободить свою Болгарію—долженъ-же былъ-бы потомъ заняться какимъ-нибудь не столь громкимъ дѣломъ. Онъ—такъ-же, какъ и всѣ—училъ-бы дѣтей или писалъ статьи въ болгарскіе журналы, или служилъ-бы въ военной или статской службѣ, или, наконецъ, торговалъ-бы, пахалъ землю и т. п. Спрашивается: отличалась-ли-бы тогда его дѣятельность отъ дѣятельности Шубиныхъ, Берсеновыхъ, Курнатовскихъ?

Если бы Инсаровъ былъ живое лицо, а не порожденіе отвлеченнаго мышленія, то мы сейчасъ же нашли-бы въ немъ черты постоянныя, которыя дали-бы намъ возможность отвѣчать на этотъ вопросъ съ увѣренностью. Теперь-же, такъ какъ Инсаровъ опредѣляется только тѣмъ, что говорятъ о немъ другіе, а не тѣмъ, что онъ говоритъ и дѣлаетъ самъ передъ нами, то намъ придется искать отвѣта въ какихъ-нибудь намекахъ, которые случайно обронить то или другое изъ дѣйствующихъ лицъ романа, и изблечать тайную мысль автора, съ опасеніемъ ошибиться.

Когда Елена познакомилась съ Инсаровымъ, она написала въ своемъ дневникѣ: „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ“.

это первый человекъ, котораго я встрѣчаю, который не лжетъ: въ другіе лгутъ, все лжетъ“. Это говоритъ Елена, уже знавшая и Шубина и Берсенева. Между тѣмъ г. Тургеневъ представляетъ намъ ихъ благородными людьми; стало-быть, тутъ ложь надобно относить не къ нравственнымъ ихъ правиламъ, а къ самой ихъ дѣятельности. Они не лгутъ; но дѣятельность ихъ ложна, въ жизни ихъ нѣтъ правды, а, слѣдовательно, нѣтъ и истинной жизни. Все, что они дѣлаютъ—пустоцвѣтъ. А то, что дѣлаетъ Инсаровъ—не ложь; въ его дѣлѣ—истинное дѣло. И оно истинно не потому, что оно практическое: дѣло Курнатовскаго тоже практическое, но и оно ложь. Это понимаетъ не только Елена, но и Шубинъ. Когда Курнатовскій былъ у Стаховыхъ, Шубинъ послѣ обѣда подошелъ къ Еленѣ и сказалъ: „Вотъ этотъ (то-есть Курнатовскій) и нѣкто другой (то-есть Инсаровъ)—оба *практическіе люди*, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящій, живой, *жизнью данный идеалъ*, а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и *опытность безъ содержанія*“. Тотъ-же рѣзвый художникъ Шубинъ еще въ началѣ романа высказалъ еще понятнѣе свой взглядъ на то, въ чемъ состоитъ сила Инсарова: *онъ съ своею землею связанъ*, говорилъ онъ Берсеневу: „не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молю, въ насъ, живая вода!“

Вотъ эта живая связь съ своей землею и составляетъ внутреннюю вѣчную сторону дѣятельности Инсарова, она-то и даетъ ей правдивость и силу. Понятно, что дѣятельность Шубина, Берсенева, Курнатовскаго ложна, потому что она не связана съ землею, выросла не изъ народной жизни, а явилась Богъ-знаетъ откуда и служить Богъ-знаетъ чьимъ потребностямъ. Шубинъ лѣпитъ какихъ-то вакханокъ; Берсенева пишетъ „о нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній“ и пестритъ свою статью иностранными словами; Курнатовскій дѣленъ безъ содержанія.

Итакъ, разбирая Инсарова, мы пришли къ мысли о необходимости народности въ искусствѣ, народности въ наукѣ, народности въ жизни общественной.

И стоило изъ-за этого поднимать Болгарію! Вѣдь, эту новость проповѣдывалъ еще „Москвитянинъ“; эту новую мысль четыре года разносила на своей оберткѣ „Русская Бесѣда“: „Только коренью основанье крѣпко, то и древо неподвижно; только коренья не будетъ, къ чему прилѣпиться“?

II. Басистовъ.

* * *

*) Въ Инсаровѣ, строго говоря, нѣтъ ничего чрезвычайнаго. Берсенева и Шубина, и сама Елена, и, наконецъ, даже авторъ повѣсти характеризуютъ его все болѣе отрицательными качествами. Онъ никогда не лжетъ, не измѣняетъ своему слову, не беретъ взаймы денегъ, не любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, не откладываетъ исполненія принятаго рѣшенія, его слово не расходится съ дѣломъ и т. п. Словомъ, въ немъ нѣтъ тѣхъ чертъ, за которыя долженъ горько упрекать себя всякій человѣкъ, имѣющій претензію считать себя порядочнымъ. Но, кромѣ того, онъ—болгаръ, питающій въ душѣ страстное желаніе освободить свою родину, и этой мысли онъ предается весь, открыто и увѣренно, въ ней заключается конечная цѣль его жизни. Онъ не думаетъ ставить свое личное благо въ противоположность съ этой цѣлью; подобная мысль, столь естественная въ русскомъ ученомъ дворянинѣ Берсенева, не можетъ даже въ голову придти простому болгару. Напротивъ, онъ потому-то и хлопочетъ о свободѣ родины, что въ этомъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни; онъ бы оставилъ въ покоѣ поработченную родину, если бы только могъ найти удовлетвореніе себѣ въ чемъ-нибудь другомъ. Но онъ никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. Какъ же это можно быть довольнымъ и счастливымъ, когда свои земляки страдаютъ? думаетъ онъ. — Какъ можетъ человѣкъ успокоиться, пока его родина поработчена и угнетена? И какое занятіе мо-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3 и „Современникъ“, 1860 г., № 3.

жетъ быть для него пріятно, если оно не ведетъ къ облегченію участи бѣдныхъ земляковъ“? Такимъ образомъ, онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло совершенно спокойно, безъ натяжекъ и фанфаронадъ, такъ же просто, какъ ѣсть и пить. Покамѣстъ ему приходится еще мало работать для прямого выполненія своей идеи; но что-же дѣлать? Ему приходится теперь и ѣсть плохо и мало, и даже иной разъ голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляетъ необходимое условіе его существованія... Онъ также живетъ *наканунъ* великаго дня свободы, въ который существо его озарится сознаниемъ счастья, жизнь наполнится и будетъ уже настоящей жизнью. Этому дня ждетъ онъ, какъ праздника, и вотъ почему не приходитъ ему въ голову сомнѣваться въ себѣ и холодно разсчитывать и взвѣшивать, сколько именно можетъ онъ сдѣлать и съ какимъ великимъ мужемъ успѣетъ поровняться... Онъ хочетъ идти, онъ не можетъ нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ бы, если бы ему нельзя было двинуться съ мѣста. Въ этомъ огромная разница между нимъ и Берсеновымъ. Берсеновъ тоже способенъ къ жертвамъ и подвигамъ; но онъ похожъ при этомъ на великодушную дѣвушку, которая для спасенія отца рѣшается на ненавистный бракъ... Любовь къ свободѣ родины у Инсарова не въ разсудкѣ, не въ сердцѣ, не въ воображеніи: она у него во всемъ организмѣ, и что бы ни вошло въ него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается съ нимъ. Оттого, при всей обыкновенности своихъ способностей, при всемъ отсутствіи блеска въ своей натурѣ, онъ стоитъ неизмѣримо выше, дѣйствуетъ на Елену несравненно сильнѣе и обаятельнѣе, нежели блестящій Шубинъ и умный Берсеновъ, хотя оба они тоже люди благородные и любящіе.

Но почему же Инсаровъ не могъ быть русскимъ? Вѣдь, онъ въ повѣсти не дѣйствуетъ, а только собирается на дѣло; это и русскій можетъ. Характеръ его тоже *возможенъ и въ русской кожѣ*; особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ любитъ сильно и рѣшительно; но *неужели не*

возможно и это для русскаго человѣка?.. Тургеневъ, столь хорошо изучившій лучшую часть нашего общества, не нашелъ возможности сдѣлать его *нашимъ*. Мало того, что онъ вывезъ его изъ Болгаріи, онъ недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, не зависящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу...

Инсаровъ, какъ человѣкъ сознательно и всецѣло проникнутый великой идеей освобожденія родины и готовый принять въ ней дѣятельную роль, не могъ развиваться и проявить себя въ современномъ русскомъ обществѣ. Даже Елена, такъ полно умѣвшая полюбить его и такъ слиться съ его идеями, и она не можетъ остаться среди русскаго общества, хотя тамъ,—всѣ ея близкіе и родные. И такъ великимъ идеямъ, великимъ сочувствіямъ нѣтъ еще мѣста среди насъ?.. Все героическое, дѣятельное должно бѣжать отъ насъ, если не хочетъ умереть отъ бездѣйствія или погибнуть напрасно? Не такъ ли? Не таковъ ли смыслъ повѣсти, разобранный нами?—Мы думаемъ, что нѣтъ. Правда, для широкой дѣятельности нѣтъ у насъ открытаго поприща... Дѣло въ томъ, что какъ бы ни была плоха наша жизнь, но въ ней уже оказалась возможность такихъ явленій, какъ Елена. И мало того, что такіе характеры стали возможны въ жизни, они уже охвачены художническимъ сознаніемъ, внесены въ литературу, возведены въ типъ. Елена—лицо идеальное, но черты ея намъ знакомы, мы ее понимаемъ, сочувствуемъ ей. Что это значитъ? То, что основа ея характера — любовь къ страждущимъ и притѣсненнымъ, желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро,—все это, наконецъ, чувствуется въ лучшей части нашего общества. И чувство это такъ сильно и такъ близко къ осуществленію, что оно уже не обольщается какъ прежде, ни блестящимъ, но безплоднымъ умомъ и талантомъ, ни добросовѣстной, но отвлеченной ученостію, ни служебными добро-

дѣтелями, ни даже добрымъ, великодушнымъ, но пассивно-развитымъ сердцемъ. Для удовлетворенія нашего чувства, нашей жажды нужно болѣе: нуженъ человѣкъ, какъ Инсаровъ—но русскій Инсаровъ.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Мы полагаемъ, что Добролюбовъ увлекся въ своемъ пессимизмѣ, стараясь доказать невозможность появленія Инсарова въ Россіи, идеальность его характера въ сравненіи съ русскими. Нѣтъ, скажемъ мы, Инсаровъ не болѣе, какъ очень порядочный человѣкъ! Противъ такого опредѣленія мы не протестуемъ, но чтобы онъ уже такъ высоко стоялъ, что намъ бѣднымъ русскимъ лапотникамъ оставалось бы только умилиться духомъ и сознаться въ своемъ безсиліи—съ этимъ мы никакъ согласиться не можемъ. Самобичеваніе вещь хорошая и полезная, но оно становится натянутымъ и даже вреднымъ, когда переходитъ границы должнаго. Въ данномъ случаѣ, пессимизмъ Добролюбова является одностороннимъ. Если вѣренъ его взглядъ, то какой же выводъ мы должны сдѣлать изъ „Наканунъ“? Неужели-же такой грустно безнадежный, что у насъ хорошихъ людей нѣтъ?

С. Венгеровъ.

* * *

**) Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налево окружающую его мелюзгу, Тургеневъ доходитъ, наконецъ, до созданія идеальнаго человѣка. Человѣкъ этотъ—Болгаринъ. На какомъ основаніи? неизвѣстно. Принимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослѣживать его развитіе и воссоздавать его личность критическимъ анализомъ я не берусь... Фигура Инсарова не возстаетъ передо мною; но за то съ ужасающею отчетливостью возстаетъ передо мною тотъ процессъ меха-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.

**) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г. № 12. Также сочиненія Писарева.

ническаго построения, которому Инсаровъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Тургеневъ не могъ остановиться на чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ жизни; ему до смерти надоѣли пигмеи, а между тѣмъ отъ этого жизнь не измѣнилась, и пигмеи не выросли ни на вершокъ. Ему захотѣлось колоссальности, героизма, и онъ задумался надъ тѣмъ, какія свойства надо придать герою; образъ не напрашивался въ его творческое сознаніе; надо было съ невѣроятными усиліями миссоставить этотъ образъ изъ разныхъ кусочковъ; во первыхъ, надо было поставить героя въ необыкновенное положеніе; положеніе придумано: Инсаровъ — Болгарь, и родители его погибли лютою смертію. Потомъ надо было устроить такъ, чтобы каждое слово и движеніе героя было проникнуто особенною многозначительностью, не сознаваемою самимъ героемъ; Тургеневъ достигъ этого, заставивъ Инсарова разглагольствовать о любви къ родинѣ почти такъ же, какъ разглагольствуетъ чиновникъ Соллогуба, съ тою только разницею, что послѣдній не дѣлаетъ блестящей антитезы (послѣдній мужикъ — и я). Чтобы оттѣнить то воодушевленіе, которое овладѣваетъ Инсаровымъ, когда онъ говоритъ о родинѣ, Тургеневъ заставляетъ его въ остальное время быть очень спокойнымъ; Тургеневъ напираетъ даже на то, что въ Инсаровѣ не видно ничего необыкновеннаго, что въ немъ все очень просто, начиная отъ ушастаго картуза и кончая спокойною походкою. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургеневъ упоминаетъ о томъ, что Инсаровъ ни отъ кого не взялъ бы денегъ взаймы и даже отъ Берсенева не принимаетъ даромъ комнаты, когда тотъ приглашаетъ его къ себѣ на дачу. Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолженія отъ мало знакомаго человѣка или отъ такого, которому тяжело быть обязаннымъ, это понятно; но съ мелочною тщательностью отгораживать свои интересы отъ интересовъ товарища студента или друга — это, воля ваша, бесплодный трудъ. Мое ли перейдетъ къ нему, его ли ко мнѣ — чортъ ли въ этомъ? Я знаю, что самъ съ

удовольствіемъ сдѣлаю ему одолженіе, и потому съ полною довѣрчивостью принимаю отъ него такое же одолженіе. Чтобы показать, какъ земляки Болгары вѣрятъ Инсарову, Тургеневъ рассказываетъ о поѣздкѣ послѣдняго за шестьдесятъ верстъ; чтобы дать образчикъ той колоссальной энергіи, на которую способенъ герой—Тургеневъ изобрѣлъ бросаніе пьянаго нѣмца, и притомъ великана, въ воду. Чтобы дать понятіе о любви Инсарова къ родинѣ—Тургеневъ заставляетъ его бороться съ любовью къ Еленѣ; Инсаровъ готовъ на пользу Болгаріи пожертвовать любимую женщину,—и это невольно переноситъ читателя въ лучшіе дни Римской республики. Но вотъ что любопытно: Инсаровъ герой, сильный человѣкъ; отчего же онъ постоянно предоставляетъ Еленѣ инициативу? Отчего Елена тащитъ его за собою и постоянно сама дѣлаетъ первый шагъ къ сближенію? Отчего Инсаровъ постоянно принимаетъ отъ нея разные доказательства любви не иначе, какъ послѣ нѣкотораго упрасиванія съ ея стороны? Что это за церемоніи, и умѣстны ли онѣ между не пигмеями? Инсаровъ видитъ, что дѣвушка вышла къ нему на встрѣчу, и съ тоскою спрашиваетъ у него: отчего же вы не пришли сегодня утромъ? Въ этомъ вопросѣ сказывается любовь, недоумѣніе, страданіе, а Инсаровъ отвѣчаетъ на это: „я вамъ не обѣщалъ“, и старается только отстоять ненарушимость своего слова. Точно будто хозяинъ торговаго дома отвѣчаетъ кредитору: „срокъ вашему векселю не сегодня!“ Освободитъ ли Инсаровъ Болгарію, не знаю; но Инсаровъ, какимъ онъ является въ отдѣльныхъ сценахъ романа: „Наканунъ“, не представляетъ въ себѣ ничего цѣлостно-человѣческаго и рѣшительно ничего симпатичнаго. Что его полюбила болѣзненно-восторженная дѣвушка, Елена — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; вѣдь и Титанія гладила съ любовью длинныя уши ослиной головы; но что истинный художникъ, Тургеневъ, соорудилъ ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца — это очень грустно; это показываетъ радикальное измѣненіе во всемъ міросозерцаніи, это начало увяданія. Кто въ Россіи сходилъ съ дороги чистаго

отрицанія, тотъ падалъ. Чтобы освѣтить ту дорогу, по которой идетъ Тургеневъ, стоитъ назвать одно великое имя Гоголя. Гоголь тоже затосковалъ по положительнымъ дѣятелямъ, да и свернулъ на переписку съ друзьями. Что-то будетъ съ Тургеневымъ?

Д. Писаревъ.

* * *

*) Героя-гражданина пришлось выписать Тургеневу изъ-за Дуная, изъ страны, хотя и не чужой намъ, но все-таки не русской. И по правдѣ сказать, герой этотъ еще въ большей степени, чѣмъ героиня романа „Наканунъ“, отличается дѣланностью. Никто не станетъ спорить противъ того, что все обаяніе Инсарова, какъ выражается Добролюбовъ, „заключается въ величіи и святости той идеи, которую проникнуто все его существо“. Но, думаю, тоже трудно спорить и противъ того, что великая и святая идея служить только ярлыкомъ, такъ сказать, приклееннымъ извнѣ на героическомъ челѣ Инсарова, а „существо“ его мало соотвѣтствуетъ великой идеѣ. Подобно Еленѣ, Инсаровъ въ своихъ теоретическихъ стремленіяхъ очень героиченъ, а въ практическихъ дѣяніяхъ какъ будто возбуждаетъ нѣкоторую скептическую улыбку. Опять-таки блѣдность Инсарова въ качествѣ живой личности была въ свое время замѣчена либеральной критикой и, несмотря на все сочувствіе ея къ замыслу, который желалъ олицетворить въ этомъ образѣ Тургеневъ, указана ею. Мало того, что Тургеневъ счелъ нужнымъ вывезти своего героя изъ чужой страны, онъ—говоритъ Добролюбовъ—„недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ чело-вѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, независящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу. Но тѣмъ не менѣе блѣдность очертаній Инса-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

рова отражается въ самомъ впечатлѣніи, производимомъ повѣстью. Величіе и красота Инсарова не выставлены передъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ свята, такъ возвышенна... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проводимыя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное дѣйствіе на общество; Карлы-Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудро было ему выказаться вполне съ своей идеей, живя въ Москвѣ и ничего не дѣлая; вѣдь, не въ риторическихъ же разглагольствіяхъ упражняться. Но мы изъ повѣсти мало узнаемъ его и какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что онъ дѣлаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемѣны въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами... Какъ живой образъ, какъ лицо дѣйствительное, Инсаровъ отъ насъ еще далекъ“. Только изъ-за непреклонной вѣрности Инсарова его идеѣ Добролюбовъ снисходительно рѣшается „на первый разъ“ не замѣчать, что Инсаровъ обозначается передъ читателями „лишь въ блѣдныхъ и общихъ очертаніяхъ“. Ко всѣмъ этимъ справедливымъ замѣчаніямъ о блѣдности фигуры Инсарова критикъ могъ бы прибавить, что реальные, положительные подвиги, которыми художникъ старается обрисовать душевную силу своего героя,—всѣ эти подвиги производятъ впечатлѣніе по меньшей мѣрѣ курьезное. Подвиги Инсарова извѣстны: примиреніе соотчичей, для котораго потребовалась поѣздка за шестьдесятъ верстъ, и уничтоженіе цѣлаго горшка каши; столкновеніе грубіяна-нѣмца въ царицынскій прудъ; наконецъ, стяженіе любви Елены и рѣшительность въ такой моментъ, когда московская барышня предложила герою „взять“ ее. Послѣдній подвигъ, вѣроятно, считался авторомъ тоже героическимъ, такъ какъ большинство русскихъ героевъ въ прежнихъ его повѣстяхъ обыкновенно въ такіе моменты пасовали и робѣли, а болгаринъ-то вотъ

не спасовалъ и не сробѣлъ, несмотря даже на болѣзненную слабость, чѣмъ и доказалъ преимущество своей энергіи передъ безхарактерностью россіянъ...

В. Буренинъ.

* * *

*) Инсаровъ, какъ изображенъ онъ въ романѣ, съ перваго разу вызываетъ нашу симпатію, онъ дѣятель, герой, отдавшій себя общему дѣлу — освобожденію родины. Онъ „частное всегда подчиняетъ общему“ (говоритъ про него Добролюбовъ) и эта „любовь къ общему дѣлу“ даетъ ему „силу спокойно выдерживать отдѣльныя обиды“.

Онъ спокоенъ, онъ владѣетъ собою, потому что знаетъ— куда идетъ. „У него есть дорога, есть цѣль“, пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ; у него есть и вѣра въ свое дѣло, какъ справедливо указываетъ она-же въ письмѣ къ нему.

Когда онъ говоритъ о своей родинѣ, онъ (по свидѣтельству Елены)

„ростетъ, растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говорить—онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать“.

Инсаровъ живетъ въ Москвѣ, учится, хлопочетъ о сближеніи русскихъ съ болгарами, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ. —Онъ уважаемъ своими соотечественниками въ Москвѣ, и служитъ связующимъ звеномъ между ними, судить ихъ въ ихъ распряхъ, отдавая имъ свое время даже для мелочныхъ ихъ нуждъ:

„То не пустяки, Елена Николаевна, говоритъ онъ, когда свои земляки замѣшаны. Тутъ отказаться грѣхъ... Наше время не намъ принадлежитъ... а всѣмъ, кому въ насъ нужда“.

Онъ готовится къ будущей великой дѣятельности на ро-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

динѣ, и когда настала минута этой дѣятельности,—„душа его загорѣлась“, говоритъ поэтъ.

Онъ „железный человѣкъ“, по опредѣленію Берсенева, „и въ то же время... въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и скрытности“.

Онъ „не застѣнчивъ“, потому что не эгоистъ. Онъ правдивъ, „на него положиться можно“,—онъ никогда не лжетъ, и ему лгать нельзя: ему „надо всегда говорить правду“; это почувствовала Елена при первомъ-же серьезномъ разговорѣ съ нимъ.

Однимъ словомъ, онъ человѣкъ состоятельный, человѣкъ дѣла. Это сказывается даже въ мелочахъ, напр., въ его поступкѣ съ пьянымъ нѣмцемъ, котораго онъ бросилъ въ воду.

„Сушь, сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своею землею связать,—не то, что наши пустые сосуды“,

говоритъ про него Шубинъ. Онъ-же выражается, что у Инсарова „настоящій, живой, жизнью данный идеалъ“.

Берсенева „можетъ быть ученіе его (пишетъ Елена въ Дневникѣ), можетъ быть даже умѣе... Но, я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій“.

И въ самомъ дѣлѣ „маленькими“, несостоятельными оказываются передъ Инсаровымъ русскіе люди въ романѣ: Берсенева, Шубинъ, не говоря уже о Курнатовскомъ.

Этотъ послѣдній тоже не герой слова, а человѣкъ „практическій“; но имъ управляетъ и руководитъ не возвышенная мысль, даже

„не чувство долга, а просто судебная честность и дѣльность безъ содержанія“.

Такимъ Инсаровъ изображается въ романѣ. На самомъ-же дѣлѣ онъ, по словамъ Незеленова, „просто очень ограниченный, даже тупъ. Никакихъ признаковъ сколько-нибудь живого ума мы въ немъ не видимъ, а напротивъ—видимъ

признаки иного рода. У него нѣтъ, на примѣръ, отвлеченныхъ умственныхъ интересовъ: онъ занимается науками, образованіемъ только съ чисто-практическою цѣлью. На другой день послѣ переселенія его въ Кунцево

„Берсенева зашелъ къ нему и потолковалъ съ нимъ о Фейербахѣ. Инсаровъ слушалъ его внимательно, возражалъ рѣдко, но дѣльно; изъ возраженій его видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ или же можно обойтись безъ него“.

Онъ чрезвычайно упрямъ и прямолинеенъ. Онъ, говоритъ поэтъ,

„никогда не мѣнялъ никакого своего рѣшенія... Берсеневу, какъ коренному русскому человѣку, эта, болѣе чѣмъ нѣмецкая, аккуратность сначала казалась нѣсколько дикою, немножко даже смѣшною“.

Берсенева понимаетъ, что Инсарову и предлагать нельзя жить на дачѣ у пріятеля бесплатно. — Упрямство выражается и въ мелочахъ. Переѣхавъ къ Берсеневу, онъ, рассказываетъ поэтъ,

„особенно долго возился... съ письменнымъ столомъ, который никакъ не хотѣлъ помѣститься въ назначенный для него простынокъ; но Инсаровъ, со свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего“.

Время свое онъ дѣлитъ педантически аккуратно. Шубинъ предложилъ Берсеневу и Инсарову посвятить день прогулкѣ. Они согласились и отправились по берегу Москвы-рѣки.

„Инсаровъ выступалъ не спѣша, глядѣлъ, дышалъ, говорилъ и улыбался спокойно: онъ отдалъ этотъ день удовольствію и наслаждался вполне. „Благоразумные мальчики такъ гуляютъ по воскресеньямъ“, шепнулъ Шубинъ Берсеневу на ухо“.

Когда Елена полюбила его, когда это замѣтили давно и Шубинъ, и Берсенева, онъ, самъ любившій ее, ни о чемъ не подозрѣваетъ, и не по смиренію (смиренія въ немъ совсѣмъ нѣтъ), а просто по отсутствію всякой проницательности, малѣйшей способности видѣть душу другого человека. Онъ очень удивился, когда Елена открыла ему свое чувство.

Онъ не умѣетъ отличить важнаго отъ мелочнаго: бросаніе нѣмца въ воду въ Царицынѣ представляется ему какимъ-то подвигомъ,—слишкомъ ужъ онъ серьезно отнесся къ этому событію; для него совсѣмъ не существуетъ черты смѣшнаго, въ немъ вовсе нѣтъ юмора. Вотъ почему Шубинъ и смѣется:

„Ну, какъ же не герой: въ воду пьяныхъ нѣмцевъ бросаетъ“.

И замѣчательно, что не одинъ Шубинъ,—надъ этимъ подсмѣялся и Добролюбовъ, критикъ вообще, какъ извѣстно, сочувствующій Инсарову, подсмѣялся въ статьѣ о „Грозѣ“ Островскаго, гдѣ, вопреки своей прежней статьѣ о „Наканунѣ“, развѣнчиваетъ Инсарова.

Ядовито, но правдиво изобразилъ его Шубинъ въ одной своей статуэткѣ:

„Злѣе и остроумнѣе невозможно было ничего придумать (говорить Тургеневъ). Молодой болгаръ былъ представленъ бараномъ, поднявшимся на заднія ножки и склоняющимъ рога для удара. Тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость, ограниченность—такъ и отпечатались на фізіономіи „супруга овецъ тонкорунныхъ“, и между тѣмъ сходство было до того поразительно, несомнѣнно, что Берсенева не могъ не расхохотаться“.

Торжество „вѣчнаго, чистаго искусства“, сказалось въ этой статуэткѣ, какъ и въ группѣ, въ которой Шубинъ обличилъ самого себя, торжество надъ глупостью и надъ зломъ.

Еще менѣе симпатиченъ Инсаровъ со стороны нравственной, чѣмъ со стороны умственной.—Злоба есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ его признаковъ. Она проявилась, напримѣръ, когда онъ бросилъ пьянаго нѣмца въ воду: „что-то недоброе, что-то опасное выступило у него“ тогда „на лицѣ“, говоритъ поэтъ.—Это смутило Елену:

„она очень испугалась въ первую минуту; потомъ ее поразило выраженіе его лица; потомъ она все размышляла“.

И вотъ къ какимъ соображеніямъ привели ее эти размышленія: она записала въ дневникъ:

„Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугался. И потомъ—какое лицо зловѣщее, почти жестокое! Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него!.. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, фойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ?“

Злобу вносить Инсаровъ и въ чистое дѣло любви къ родинѣ и освобожденія ея, злобу и месть. И личная месть дорога ему; мечту о ней лелѣетъ онъ въ сердцѣ, и только на-время частное его дѣло отступило на задній планъ передъ общимъ. — Елена спрашиваетъ его — встрѣтился ли онъ, когда ѣздилъ на родину, „съ тѣмъ человѣкомъ...“ (она намекаетъ на убійцу его отца):

„Елена Николаевна, началъ онъ... и голосъ его былъ тише обыкновеннаго, что почти испугало Елену: я понимаю, о какомъ человѣкѣ вы сейчасъ упомянули. Нѣтъ, я не встрѣтился съ нимъ, и слава Богу! Я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобы я не почиталъ себя въ-правѣ убить его,—я бы очень спокойно убилъ его,—но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ о народномъ, общемъ отмщеніи... или нѣтъ, это слово не годится... когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ... И то не уйдетъ, повторилъ онъ и покачалъ головой“.

Въ продолжающемся затѣмъ разговорѣ о Болгаріи, Инсаровъ, общая Еленѣ познакомить ее съ исторіей своего народа, говоритъ:

„Я увѣренъ, вы полюбите насъ: вы всѣхъ притѣсненныхъ любите. Если-бы вы знали, какой нашъ край благодатный! А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ, подхватилъ онъ съ невольнымъ движеніемъ руки, и лицо его потемнѣло:—у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ...“

— Дмитрій Никанорычъ! воскликнула Елена.

Онъ остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить объ этомъ хладнокровно“.

Инсаровъ выразился-бы точнѣе, если-бы сказалъ: не могу говорить безъ злобы и ненависти. Очевидно, что эта ненависть и испугала Елену. И ясно, что Инсарову, со-всѣмъ непонятна, для него вполнѣ недоступна мысль поэта объ освободителѣ своей родины: “Только чистый можетъ святое дѣло честно совершить“ *). Чистоты духа въ Инсаровѣ нѣтъ.

Здѣсь открывается передъ нами еще одна темная черта его нравственнаго образа: перевѣсъ въ немъ, ощутительный, несомнѣнный перевѣсъ тѣла надъ духомъ. Есть въ немъ что-то грубо животное, чувственное. — Онъ положительно отталкиваетъ насъ отъ себя въ той сценѣ съ Еленой, когда она, любящая его, радостная, счастливая, что онъ выздоравливаетъ, пришла къ нему. Она начала говорить ему о Шубинѣ, о Курнатовскомъ, о томъ, что она дѣлала во время его болѣзни...

„Онъ слушалъ ее (разсказываетъ поэтъ), слушалъ, то блѣднѣя, то краснѣя... онъ нѣсколько разъ хотѣлъ остановить ее, и вдругъ выпрямился.“

— Елена, сказалъ онъ ей какимъ-то страннымъ и рѣзкимъ голосомъ, — оставь меня, уйди.

— Какъ? промолвила она съ изумленіемъ. Ты дурно себя чувствуешь? прибавила она съ живостью.

— Нѣтъ... мнѣ хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты дѣлаешь? проговорила она вдругъ: онъ склонился съ дивана почти до полу, и приникъ губами къ ея ногамъ. — Не дѣлай это, Дмитрій... Дмитрій...

Онъ приподнялся.

— Такъ оставь меня! Вотъ видишь ли, Елена, когда я сдѣлался боленъ, я не тотчасъ лишился сознанія; я зналъ, что я на краю гибели; даже въ жару, въ бреду я понималъ, я смутно чувствовалъ, что это смерть ко мнѣ идетъ, я прощался съ жизнью, съ тобой, со всѣмъ, я разставался съ надеждой... И вдругъ это возрожденіе, этотъ свѣтъ послѣ тьмы, ты... ты... возлѣ меня, у меня... твой голосъ, твое дыханіе. . Это свыше силъ моихъ! Я

*) „Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ“, А. Н. Островскаго.

чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвѣчаю... Уйди!..

...Зачѣмъ ты пришла ко мнѣ теперь, когда я слабъ, когда я не владѣю собою, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

Инсаровъ напрасно сваливаетъ съ больной головы на здоровую, — съ себя на болѣзнь, на слабость. То-же самое тупоумно-чувственное начало мы видимъ въ немъ и раньше болѣзни, въ первое посѣщеніе его Еленой. Онъ не ожидалъ того посѣщенія; онъ глядѣлъ на Елену какъ очарованный...

„Сядь же, проговорила она, не поднимая на него глазъ, и указывая ему на мѣсто возлѣ себя.

Инсаровъ сѣлъ, но не на диванъ, а на полъ у ея ногъ.

— На, сними съ меня перчатки, промолвила она неровнымъ голосомъ. Ей становилось страшно.

Онъ принялся сперва растегивать, потомъ стаскивать одну перчатку, стащилъ ее до половины, и жадно прильнулъ губами къ заблѣвшей подъ нею тонкой и вѣжной кисти.

Елена вздрогнула и хотѣла отклонить его другой рукой, онъ началъ цѣловать другую руку. Елена потянула ее къ себѣ, онъ откинулъ голову, она посмотрѣла ему въ лицо, нагнулась — и губы ихъ слились...

Прошло молчаніе... Она вырвалась, встала, шепнула: „нѣтъ, нѣтъ“ и быстро подошла къ письменному столу.

— Вѣдь, я здѣсь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, проговорила она, стараясь казаться безпечной и становясь къ нему спиной. — Сколько бумагъ! Это что за письма?

Инсаровъ наморщилъ брови. — Эти письма? промолвилъ онъ, вставая съ полу. — Ты можешь ихъ прочесть“.

Очевидно, Инсаровъ не понимаетъ чистаго чувства, и Шубинъ вдвойнѣ правъ, изобразивши его въ животномъ образѣ барана.

Таковъ въ „Наканунѣ“ состоятельный человѣкъ и герой, долженствующій посрамить собою, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, недѣятельныхъ и несостоятельныхъ русскихъ людей. — Отношенія Тургенева къ нему, къ этому герою, къ Инсарову, видимо объективны, безпристрастны. Но несомнѣнно чувствуется въ романѣ, что

сердце поэта гораздо больше лежитъ къ Шубину и къ Берсеневу, чѣмъ къ этому человѣку.

А. Незеленовъ.

Б е р с е н е в ъ .

*) Берсеневъ, человѣкъ хорошо воспитанный, кандидатъ Московскаго Университета, съ лицомъ, выражающимъ привычку мыслить и доброту. Г-жа Туръ когда-то сдѣлала подобное лицо герою своего большого романа „Племянница“. Это представитель тѣхъ жрецовъ науки, которыми, по словамъ Шубина, справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства, будущій посредникъ между наукой и россійской публикой. Онъ учится много, работаетъ усердно, но въ немъ нѣтъ этой пылкости Шубина, этой возможности отдаться надолго, страстно, съ забвеніемъ самого себя впечатлѣнію. Онъ чувствуетъ, что въ немъ зарождается любовь къ Еленѣ, онъ груститъ и страдаетъ; въ немъ уже есть зародыши той рефлексіи, которая губитъ жизнь, уничтожаетъ наслажденіе, не допускаетъ беззавѣтно отдаться чувству. Всего яснѣе контрасты обѣихъ натуръ выражаются во взглядѣ на природу у Шубина и у Берсенева. Когда первый радостно вдыхаетъ въ себя это дыханіе жизни, разлитой повсюду, Берсеневъ чувствуетъ безпокойство, тревогу, грусть; онъ силится размышленіемъ объяснить себѣ свое душевное состояніе. Когда подѣ влияніемъ вечера, проведеннаго съ Еленой, онъ возвращается домой, и сердце его настроено на любовь, онъ садится за фортепьяно въ своей комнатѣ и подѣ аккорды звуковъ, выражающихъ чувство, онъ плачетъ горькими слезами; да, онъ умѣетъ плакать. Но тотчасъ же, онъ умѣетъ подавить въ себѣ зародившуюся тревогу, умѣетъ закрыть фортепьяно, заглушить звуки, поющіе въ сердцѣ и перейти къ тому, что, по его понятіямъ, составляетъ его призваніе въ жизни. Онъ можетъ раскрыть Раумерову *Исторію Гогенштауфе-*

* „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К.—аго.

новъ именно на той страницѣ, на которой остановился по утру, и продолжать свое изученіе дальше, перейти отъ Раумера къ Гроту и т. д. Что-то есть порядочное, нѣмецкое, въ этомъ подчиненіи себя идеалу долга, призванію. Любимая мечта его, цѣль его жизни—сдѣлаться профессоромъ. „Какое же можетъ быть лучше призваніе, говоритъ онъ Еленѣ,—подумайте, пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича?“ Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ его радостью и смущеніемъ. Онъ не гордъ и не самоувѣренъ, онъ сознаетъ все, чего не достаетъ ему, и мечтаетъ получить позволеніе съѣздить за границу года на три, четыре и тамъ поучиться въ германскихъ университетахъ. Его идеаль — эта дѣятельность слова въ аудиторіи, этотъ свѣтъ мысли постепенно пробивающій густую тьму, эта просвѣщенная борьба со зломъ, которой онъ хочетъ отдать всю свою жизньъ, выбирая орудіемъ борьбы — науку. Онъ говоритъ прекрасно, сдержанно, съ сосредоточенною мыслию. Умъ и сердце слышатся въ словахъ его; Шубину объясняетъ онъ красоту, которую понимаетъ какъ эстетически-развитый человѣкъ, а не какъ художникъ, и Елена слушаетъ его со вниманіемъ, не отводя взора отъ его поблѣднѣвшаго лица, отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ. При разговорѣ съ нимъ „душа ея раскрывалась, и что-то нѣжное, справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то выросло въ немъ.“ Берсенева не эпикурецъ. Онъ не жаждетъ счастья, подобно Шубину; онъ смотритъ на счастье, какъ на эгоизмъ; у него есть кой-что повыше этого личнаго счастья. Онъ говоритъ Шубину, что есть на свѣтѣ слова, соединяющія людей, заставляющія ихъ подавать другъ другу руки, что слова эти: искусство, родина, наука, свобода, справедливость—выше счастья, что любовь, которая для Шубина есть наслажденіе, по его понятію, должна быть жертвою, что все назначеніе нашей жизни — *поставить себя нумеромъ вторымъ* (въ противоположность эгоизму художника), и съ этой точки зрѣнія подчиненія себя общему благу, забвенія своей личности, онъ смотритъ на будущую свою дѣятельность. Берсенева съ-

щество серьезное, но абстрактное, идеалистъ; его цѣль не близка; она далеко; за его словомъ не послѣдуетъ тотчасъ же примѣненія, дѣйствія. Берсенева сознательно добра. Елена въ дневникѣ сравниваетъ его разъ съ Инсаровымъ и говоритъ, что Берсенева, можетъ быть, ученѣе его, можетъ быть, умнѣе, „но я не знаю, прибавляетъ она, онъ *передъ нимъ такой маленькій*“. Самоотверженіе его тогда, когда узнаетъ онъ о любви Елены къ Инсарову, когда нейдетъ ему въ голову Раумеръ, — трогательно. Заботы у постели больного Инсарова, роль посредника между имъ и Еленой, которую любилъ онъ, роль, вѣроятно, стоившая ему тяжелыхъ часовъ глухого страданія, вызываютъ къ нему участіе. Лучше всего выражается его характеръ въ слѣдующихъ словахъ его: „Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись же за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солнце пусть сіяетъ другимъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!“ Люди, подобные Берсенева, носятъ въ груди своей клятву рыцарей Круглаго Стола; это такъ называемые *піонеры будущаго*, и, конечно, мы не откажемъ имъ въ нашемъ глубокомъ, полномъ сочувствіи, если только призваніе свое выполняютъ они честно и искренно, если они не сворачиваютъ съ своей дороги и ни съ кѣмъ никогда не дѣлаютъ компромиссовъ. Образецъ, приводимый Берсеневымъ, по слѣдамъ котораго онъ хочетъ идти — Грановскій — есть типъ этихъ чистыхъ рыцарей, которымъ ввѣренъ Грааль науки, бережно хранимый ими въ глухомъ лѣсу, посреди дикихъ звѣрей. Но время Грановскаго, несмотря на всю близость его къ намъ, не похоже на настоящее время, и мы увѣрены, что Грановскій теперь былъ бы инымъ. Въ этомъ служеніи абстрактному идеалу науки, въ этомъ ожиданіи отдаленныхъ плодовъ ея, въ этой медленной постройкѣ таинственного зданія — есть что-то масонское, мистическое. Молодая жизнь не терпитъ

никакого мистицизма. Ея горячія слезы отираются дѣятельною любовью; ея раны залѣчиваются дѣйствительными хирургами, а не теоретиками съ художественно-изящными фразами на устахъ. *Arg longa, vita brevis*—говоритъ опошленная употребленіемъ пословица, и жизнь не ждетъ, какъ не дожидалась Елена, можетъ быть, сначала чувствовавшая влеченіе къ Берсеневу, того времени, когда онъ кончитъ свое ученіе на казенный счетъ въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Берлинѣ и напечатаетъ статьи свои: *О нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній и о значеніи городского начала въ вопросъ цивилизаціи*, написанныя языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещреннымъ иностранными словами. Эти названія сочиненій Берсенева звучатъ какъ иронія: такъ далеки они отъ жизни, такъ ясно показываютъ, въ какую отдаленную сферу кинулся авторъ ихъ. А Елена поѣхала туда, гдѣ бьется настоящая жизнь, гдѣ народъ подымается противъ своихъ вѣковыхъ притѣснителей—турокъ, гдѣ у каждаго на устахъ слова: родина, независимость...

„Русское Слово“. Статья Н. К—аго.

* * *

*) Разсуждая о благородныхъ принципахъ Берсенева и о способности къ самоотверженію, Добролюбовъ говоритъ, что онъ (Берсенева) „выражаетъ искреннюю готовность пожертвовать своимъ счастьемъ для одного изъ тѣхъ словъ, которыя онъ называетъ соединяющими“. Этимъ онъ долженъ привлечь сочувствіе такой дѣвушки, какъ Елена. Но тутъ-же видно и то, почему онъ не можетъ овладѣть всею ея душою, всей полнотою ея жизни. Это одинъ изъ героевъ пассивныхъ добродѣтелей, человѣкъ, умѣющій многое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благородное поведеніе, когда приведетъ къ тому случай; но онъ не сумѣетъ и не посмѣетъ опредѣлить себя на широкую

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3. Также „Современникъ“ 1860 г., № 3.

и смѣлую дѣятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль въ какомъ-нибудь дѣлѣ... Берсенева весьма хорошій русскій дворянинъ, воспитанный въ началахъ долга и пустившійся потомъ въ ученость и философію. Онъ гораздо дѣльнѣе и надежнѣе Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то онъ пойдетъ охотно и прямо. Но самъ вести онъ не можетъ, не только другихъ, но даже и себя самого; инициативы нѣтъ у него въ натурѣ, и онъ не успѣлъ ее приобрести ни въ воспитаніи, ни въ послѣдующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатію къ нему за то, что онъ добрый, и все о дѣлѣ говорить. Она даже совѣстится передъ нимъ своего невѣжества, по тому случаю, что онъ все приноситъ ей книги, которыхъ она читать не можетъ. Но совершенно привязаться къ нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не можетъ: она еще прежде, чѣмъ увидѣла Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенева не то, чего ей нужно.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Берсенева, — „будущій посредникъ между наукой и русскою публикой“, „доброе совѣстно-умѣренный энтузіастъ“ (какъ опредѣляетъ его Шубинъ), — очень далекъ отъ настоящаго энтузіазма, отъ восторженнаго увлеченія идеями и жизнью. Онъ узокъ и сухъ. Онъ весь отдался наукѣ; но и въ науку не внесетъ увлеченія, не внесетъ страсти, хоть и любитъ ее, хоть и съ сердечнымъ участіемъ (конечно, умѣреннымъ) написалъ, въ концѣ романа, свои трактаты: „О нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній“ и „О значеніи городского начала въ вопросѣ цивилизаціи“.

Человѣкъ умный и живой, Берсенева чуждъ, однако, всякой инициативы, вялъ душою. — Благоговѣнно чтя память своего отца, человѣка оригинальнаго, но отвлеченнаго, „иллюмината, шеллингианца, стараго геттингенскаго сту-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

дента, автора рукописнаго сочиненія „о проступленіяхъ или прообразованіяхъ духа въ мірѣ“—сочиненія, въ которомъ шеллингизмъ, сведенборгіанизмъ и республиканизмъ смѣшались самымъ оригинальнымъ образомъ“, — Берсенева не претендуетъ на большее, не мечтаетъ ни о чемъ высшемъ, какъ быть продолжателемъ отца въ дѣлѣ любви и стремленія къ знанію, да еще идти по стопамъ своего уважаемаго профессора Тимоѳея Николаевича:

„Помилуйте (говоритъ онъ Еленѣ), пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ, да... смущеніемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ“.

Берсенева чувствуетъ, чувствуетъ искренно и сердечно, но тоже вяло. Была минута, когда Елена, любимая имъ дѣвушка, готова была полюбить его, — и онъ догадывался объ этомъ и Шубинъ о томъ-же говорилъ ему, когда они ночью шли отъ Стаховыхъ къ домику Берсенева.

А. Незеленовъ.

Ш у б и н ъ . *

*) Непосредственная, художественная, блестящая натура представляется намъ въ лицѣ художника-скульптора Шубина. Здоровье и молодость, безпечность, самонадѣянность, избалованность невольно привлекаютъ къ нему. Какъ горячо, какъ страстно говоритъ онъ о любви, которую проситъ молодость, объ этой жаждѣ счастья, которую полна душа его. „Мы молоды, не уроды, не глупы, говоритъ онъ Берсенева, мы завоюемъ себѣ счастье!“ „Какіе безмолвные восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любятъ“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ. Дальше этого счастья, эгоистическаго, но классическаго, дальше этого греческаго идеала наслажденія не идетъ Шубинъ. Онъ какъ-то художественно, порывисто влюбленъ въ Елену

*) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К.—аго.

и въ то же время гонится за красивой горничной Аннушкой, и отбиваетъ у отца Елены Августину Христіановну. Это типъ такъ называемой широкой натуры, доведенный здѣсь до изящества, до граціи, освобожденный отъ всего грубаго, дикаго, удалого, исполненный той сдержанной, законной гармоніей, которая проникаетъ все существо Шубина. Ему хочется свѣта, простора, Италіи, обѣтованной земли художниковъ. Это облагороженный эпикуреецъ, ревниво ограждающій свое счастье отъ всякаго облачка. Онъ не допускаетъ малѣйшей тѣни на этомъ свѣтломъ небѣ изящнаго наслажденія жизнію, и когда Берсенева, въ ясный вечеръ, рассказываетъ Еленѣ исторію отца своего, послѣдователя шеллинговой философіи, онъ проситъ говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ. Онъ ничего еще не сдѣлалъ, но въ немъ множество задатковъ; геніальная натура его сказывается въ изящныхъ статуеткахъ, гдѣ мѣтко подмѣчены имъ выраженіе лица и внутренній міръ его знакомыхъ. Онъ и кончаетъ въ повѣсти не дурно. Мы прощаемся съ нимъ въ Римѣ, гдѣ онъ весь отдался своему искусству, работаетъ много и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ваятелей. Шубинъ — представитель цѣлаго поколѣнія молодыхъ русскихъ людей, къ счастью, отживающаго теперь, которые, вслѣдствіе независимости отъ нихъ обстоятельствъ, выбрали своею дѣятельностію изящное наслажденіе жизнію, а идеаломъ для подражанія художественную фигуру Вильгельма Мейстера. Въ немъ много обаянія, *шарму*, какъ говоритъ онъ самъ. Такія лица нравятся женщинамъ съ эпикурейскими наклонностями, но на Елену онъ не могъ подѣйствовать. Она пишетъ въ своемъ дневникѣ, что ей не нужно его любви; она прямо говоритъ ему, что не полюбитъ художника. Онъ наряденъ, какъ бабочка, по словамъ ея, да любитъ своимъ нарядомъ, чего бабочки не дѣлаютъ. Кромѣ этой изящной внѣшности, подвижности, блеска, у Шубина прекрасное сердце, прекрасная душа. Въ немъ *такъ много* любви ко всему окружающему; эту любовь, *это* человеческое участіе онъ вноситъ въ домашнія ссоры

семейства, гдѣ живетъ; онъ улыбкой прогоняетъ вздохъ, шуткой сглаживаетъ набѣжавшія морщины на лобъ близкаго ему человѣка; онъ шутитъ надъ грубыми выходками и пристыжаетъ; онъ является спасителемъ въ затруднительныя минуты. Онъ красиво уменъ, но ни во что не вѣритъ, потому что „въ самого себя вѣрить нельзя“, говоритъ Елена. Въ сравненіи съ Инсаровымъ онъ вовсе не дрянъ, но Елена его никогда не любила, какъ сама признается. Что для ея натуры, съ вѣчною жаждою дѣятельнаго добра, могла значить эта красивая, блестящая личность, съ ея ироніей и эпикурейской бездѣятельностію? Намъ укажутъ на римскія работы Шубина и скажутъ, что онъ вовсе не бездѣтеленъ, но эти работы были его личнымъ дѣломъ, прихотью его художнической души, послѣобѣденнымъ кейфомъ. Играй искусство въ настоящемъ мірѣ ту роль, какую играло оно въ XIV, XV, XVI вѣкахъ, сдѣлайся оно главнымъ содержаніемъ цѣлой эпохи, такъ что художникъ является живымъ сосудомъ цѣлаго міра общественныхъ идей и стремленій, и будь Шубинъ однимъ изъ такихъ художниковъ, воплотившихъ въ свои созданія современную мысль родины, — конечно, Елена имѣла-бы полное право полюбить его. Но теперь искусство служить для украшенія жизни; связи съ народной исторіей оно не имѣетъ никакой, и Шубина могла полюбить только лѣнивая, жаждущая наслажденія женщина, а не строгая, дѣятельная Елена.

„Русское Слово“. Статья Н. К—аю.

* * *

*) Шубинъ (прямая противоположность Берсеневу, артистъ, даровитый художникъ и увлекающійся человѣкъ) грѣшитъ недостатками другого рода: онъ вѣтренъ, легкомысленъ, неоснователенъ.

„Я люблю говорить (записала Елена въ своемъ дневникѣ про Берсенева и Шубина) съ Андреемъ Петровичемъ: никогда ни слова

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Сиб. 1885 г.

о себѣ, все о чемъ нибудь дѣльнымъ, полезномъ. Не то, что Шубинъ. Шубинъ наряденъ, какъ бабочка, да любитъ своимъ нарядомъ: этого бабочки не дѣлаютъ“.

Самолюбивая жажда счастья, въ самомъ дѣлѣ, владѣетъ душой Шубина, при всемъ его безпредѣльномъ, дѣтскомъ добродушіи.

„И отъ лѣса, и отъ рѣки, и отъ земли, и отъ неба, отъ всякаго облачка, отъ всякой травки яжду (говоритъ онъ Берсеневу), я хочу счастья, я во всемъ чую его приближеніе, слышу ихъ призывъ. „Мой богъ — богъ свѣтлый и веселый!.. Я было такъ началъ одно стихотвореніе... Счастья, счастья! пока жизнь не прошла, пока всѣ наши члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ-гору, а въ гору!..

Будто нѣтъ ничего выше счастья?.. (возразилъ ему Берсеневъ). И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслажденіе, любовь-жертва.

Шубинъ нахмурился.

— Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть нумеромъ первымъ“, сказалъ онъ.

Онъ любитъ Елену, пламенно жаждетъ ея сочувствія; но въ то-же время легкомысленно увлекается пустынькой Зоей, надъ которой самъ-же смѣется.

Елена бесѣдуетъ съ Берсеновымъ объ отцѣ послѣдняго, о философіи Шеллинга...

„Что за охота, помилуйте (перебиваетъ ихъ разговоръ Шубинъ), теперь, въ такую погоду, подъ этими деревьями, толковать о философіи? Давайте лучше говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ.

— Да (съ досадой замѣчаетъ ему Елена) и о французскихъ романахъ, о женскихъ тряпкахъ.

— Пожалуй, и о тряпкахъ (возражаетъ Шубинъ), если онѣ красивы.

— ...Позвольте васъ спросить (говоритъ ему на это Елена), при такомъ образѣ мыслей, зачѣмъ вы нападаете на Зою? Съ ней особенно удобно говорить о тряпкахъ и о розахъ“.

Шубинъ обижается на слова Елены, на то, что она отсылаетъ его къ Зоѣ. Но въ тотъ-же вечеръ, провожая *Берсенева*, онъ сознается своему другу (правда, съ искреннимъ огорченіемъ), что потерялъ теперь надежды на взаим-

ность Елены, между прочимъ потому, что она надняхъ застала его „цѣлующимъ руки у Зои“.

„У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь дѣлать? У нея плечи такъ хороши.

Плечи?

— Ну, да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этихъ свободныхъ занятій послѣ обѣда, а передъ обѣдомъ я въ ея присутствіи бранилъ Зою. Елена, къ сожалѣнію, не понимаетъ всей естественности подобныхъ противорѣчій“.

У Шубина есть увлеченія, пожалуй, и еще пониже: въ тотъ-же самый вечеръ, тотчасъ послѣ слезъ Шубина о безнадежности своей любви, Берсенева становится свидѣтелемъ сцены отношеній своего друга къ Аннушкѣ. Они проходили мимо мелочной лавки; дѣвушка, съ виду горничная, стояла тамъ спиной къ порогу и торговалась съ хозяиномъ.

Шубинъ глянулъ во внутренность лавки, остановился и кликнулъ: Аннушка! Дѣвушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свѣжее лицо, съ веселыми карими глазами и черными бровями. — „Аннушка!“ повторилъ Шубинъ. Дѣвушка всмотрѣлась въ него, испугалась, застыдилась—и не кончивъ покупки, спустилась съ крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла черезъ дорогу, налѣво... а Шубинъ обратился къ Берсеневу со словами: „это... это, вотъ видишь... тутъ есть у меня знакомое семейство... такъ это у нихъ... ты не подумай...“ и не докончивъ рѣчи (онъ) побѣждалъ за уходившею дѣвушкой.

— Утри, по крайней мѣрѣ, свои слезы, крикнулъ Берсенева, и не могъ удержаться отъ смѣха“.

Елена совершенно справедливо опредѣлила однажды Шубина ему самому:

„Вы... я побожиться готовъ, не вѣрите въ мое раскаяніе (сказалъ онъ).“

— Нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ, я вѣрю въ ваше раскаяніе и въ ваши слезы я вѣрю (замѣтила она). Но мнѣ кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже“.

И въ области своего искусства, которое такъ душевно,

такъ искренно любить, Шубинъ не удерживается отъ легкомысленныхъ постороннихъ увлеченій.

„Когда же, Боже мой, поѣду я въ Италію? когда... (воскликаетъ онъ въ бесѣдѣ съ Берсеневымъ).“

— То есть, ты хочешь сказать—въ Малороссію? (иронически перебиваетъ тотъ).

— Стыдно тебѣ, Андрей Петровичъ, упрекать меня въ необдуманной глупости, въ которой я, и безъ того, горько раскаиваюсь. Ну, да, я поступилъ какъ дуракъ: добрыйша Анна Васильевна дала мнѣ денегъ на поѣздку въ Италію, а я отправился къ хохламъ ѣсть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, перебилъ Берсенева.

— И, все-таки, я скажу, что эти деньги не были истрачены даромъ. Я увидалъ тамъ такіе типы, особенно женскіе... Конечно, я знаю: внѣ Италіи нѣтъ спасенія!

— Ты поѣдешь въ Италію, проговорилъ Берсенева, не оборачиваясь къ нему, — и ничего не сдѣлаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаемъ мы васъ!“

И Берсенева, если не вполнѣ, такъ отчасти правъ въ этомъ строгомъ приговорѣ и предсказаніи. Шубинъ не учился своему искусству какъ слѣдуетъ: не хватало у него терпѣнья и выдержки; поступилъ было онъ въ университетъ, на медицинскій факультетъ, надѣясь познакомиться съ анатоміей, — но и тутъ бросилъ дѣло на полдорогѣ. И онъ не достигъ въ искусствѣ того, чего можно было-бы ожидать отъ его даровитости. Въ концѣ романа мы видимъ его въ Италіи.

А. Незеленовъ.

К у р н а т о в с к і й.

*) Это новый видъ Паншина, только безъ свѣтскихъ и художественныхъ талантовъ, и болѣе дѣловой. Онъ очень честенъ и даже великодушенъ; въ доказательство его великодушія, Стаховъ, прочавшій его въ женихи Еленѣ, приводитъ фактъ, что онъ, какъ только достигъ возможности безбѣдно существовать своимъ жалованьемъ, тотчасъ отка-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3. Также „Современникъ“ 1860 г., № 3.

зался въ пользу братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначалъ ему отецъ. Вообще въ немъ много хорошаго: это признаетъ даже Елена, изображающая его въ письмѣ къ Инсарову.

Н. Добролюбовъ.

Уваръ Ивановичъ.

*) Уваръ Ивановичъ, „представитель хорового начала“, „великій философъ земли русской“ „черноземная, сила“, „фундаментъ общественнаго зданія“ по опредѣленію Шубина, выражаетъ собою, своей грандіозной фигурой, крѣпкія, твердыя, надежныя основы русской общественной жизни, основы, съ которыхъ ей не сорваться, какъ ни уклоняйся она въ разныя стороны, которыя удержатъ ее въ границахъ истины и правды. — Уваръ Ивановичъ лежитъ почти неподвижно на своемъ диванѣ „самсонѣ“; но онъ все видитъ и слышитъ и все понимаетъ, — и когда нужно, когда обратятся къ нему, онъ укажетъ истинный путь: онъ останавливаетъ, напр., самолюбивый, легкомысленный порывъ Шубина, когда тотъ, по поводу Инсарова и Елены, замечталъ было о своей будущей славѣ, останавливаетъ словами здраваго смысла:

„далека пѣсня... о другихъ рѣчь, а ты... того... о себѣ“;

но онъ-же любитъ Шубина, ибо понимаетъ его даровитость, цѣнитъ его способности. И великая честь Шубину, что и онъ любитъ и цѣнитъ Увара Ивановича, — ручательство, что творческія силы русскаго общества (представителемъ которыхъ служить въ романѣ Шубинъ) стоятъ на почвѣ, на твердой народной почвѣ, хоть и отклоняются порою въ сторону.

По поводу отъѣзда Елены изъ Россіи Шубинъ бесѣдуетъ съ своимъ старымъ другомъ.

„Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри“ (говорить онъ скорбно)... Что-жъ это, Уваръ Ивановичъ? Когда-жъ наша придетъ пора? Когда у насъ народятся люди?

*) А. Пезеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Сиб. 1885 г.

— Дай срокъ, отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ—будутъ.

— Будутъ? Почва! черноземная сила! ты сказала: будутъ. Смотрите же, я запишу ваше слово“.

Будутъ у насъ люди, — въ этой идеѣ весь смыслъ романа, тотъ смыслъ, о которомъ говоритъ и самое заглавіе его— „Наканунъ“.

Если-бы Елена, прежде окончательнаго рѣшенія, обратилась къ Увару Ивановичу, — онъ бы открылъ ей истину: онъ-бы сказалъ ей, что она не должна разрывать съ родиной, что надо терпѣливо и смиренно подождать, что не слѣдуетъ увлекаться себялюбивымъ порывомъ къ отвлеченной дѣятельности и личному счастью; онъ бы открылъ ей глаза и на Инсарова.

Въ концѣ романа, когда все уже кончилось для Елены, „кончилась (по слову поэта) маленькая игра жизни... ея легкое броженіе, и настала очередь смерти“, — Шубинъ вновь задалъ Увару Ивановичу прежній вопросъ—вопросъ о томъ, что ждетъ насъ впереди.

„Помните (писалъ онъ ему изъ Италіи), что вы мнѣ сказали въ ту ночь, когда сталъ извѣстенъ бракъ бѣдной Елены, когда я сидѣлъ на вашей кровати и разговаривалъ съ вами? Помните, я спрашивалъ у васъ тогда, будутъ ли у насъ люди? и вы мнѣ отвѣчали: „будутъ“. О, черноземная сила! И вотъ теперь я отсюда, изъ моего „прекраснаго далека“, снова васъ спрашиваю:— ну что же, Уваръ Ивановичъ, будутъ?“

— Уваръ Ивановичъ поигралъ перстами (говоритъ поэтъ) и устремилъ въ отдаленіе свой загадочный взоръ“.

Что значить это теперешнее молчаніе Увара Ивановича? находить ли онъ лишнимъ повторять разъ имъ сказанное, считая его неизмѣннымъ и непреложнымъ? или онъ думаетъ, что не будутъ у насъ люди, если Елены станутъ уходить изъ русской земли, подрывая тѣмъ ея силы, если Шубинъ начнутъ работать на иностранный ладъ, отрываясь отъ почвы.

Должно быть оба смысла заключаются въ знаменательномъ молчаніи „великаго философа русской земли“, „представителя хорового начала“.

А. Неземновъ.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ ореографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ ореографическихъ правилъ, ореографическаго словаря и списка *есть* словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алфавитное, — почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подѣ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подѣ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подѣ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извощикъ, извосчикъ или извощикъ? Справляйтесь подѣ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ ореографическомъ словарѣ подѣ буквой и — вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часѣ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Ц. 50 к. (Печатается 2-мъ изданіемъ).

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе и объясненіе иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ. (Готовится къ печати).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

6. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправление. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 6-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

7. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 4-е. М. 1895 г. Ц. 40 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенноти: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику ороографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія ороографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соответственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ ороографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильного письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ проверить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой ороографіи, такъ и методики ея преподаванія, — съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по ороографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ ороографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобретаютъ ороографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какому-либо экзамену, а еще болѣе — для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя — тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія ороографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производн. словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

9. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы — 2 к.

10. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

11. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

12. Методическія уназанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

13. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приѣмовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. М. 1893 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

14. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. по 2 рубля за выпускъ.—Прибавленіе къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“ печатается.

15. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

16. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Кажд. часть отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1887—1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть отдѣльно по 1 р.).

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1888 г. Ц. 3 р. (Кажд. часть отдѣльно по 1 р.).

19. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Москва. 1889—1893 г. Ц. 2 р. (Каждая часть по 1 р.).

20. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.

21. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Ц. 50 к.

22. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Ц. по 1 р. за часть. Третья часть печатается.

23. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.

IV. Серія разныхъ книжекъ:

24. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

25. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

26. Исторія коронованія російскихъ царей, императрицъ и императоровъ (Печатается вторымъ изданіемъ).

27. *Bibliothèque d'enfants*. Сборникъ историческихъ рассказовъ на французскомъ языкѣ съ подстрочнымъ словаремъ, для въѣ-класснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

28. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ Англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

Всѣ перечисленныя книги, за исключеніемъ критическихъ сборниковъ, имѣются въ переплетахъ, по 15 к. за переплетъ.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, домъ Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ за пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Изъ склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

279 5-

Stanford University Libraries
3 6105 124 438 172



4-

PG
34
D83
1895

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--

